Татьяна Ступникова

ничего кроме правды

нюрнбергский процесс
воспоминания переводчика

Татьяна Ступникова

Ничего кроме правды



Татьяна Ступникова

Ничего кроме правды

Нюрнбергский процесс
Воспоминания переводчика

Возвращение
2003

ББК 84.Р7
С88

Ступникова Т. С.
С88 Ничего кроме правды. Нюрнбергский процесс. Воспоминания переводчика. — 2-е изд. — М.: Возвращение, 2003. — 200 с.

ISBN 5-7157-0136-8

Книга содержит воспоминания Т. С. Ступниковой, которая работала синхронным переводчиком на Нюрнбергском процессе и была непосредственной свидетельницей этого уникального события. Книга написана живо и остро, содержит бесценные факты, которые невозможно почерпнуть из официальных документов и хроник, и будет, несомненно, интересна как профессиональным историкам, так и самой широкой читательской аудитории.

Первое издание книги вышло в свет в 1998 году в издательстве «Русские словари».

ISBN 5-7157-0136-8 ББК 84.Р7

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

В октябре 1994 года у меня в квартире раздался телефонный звонок. В Москву приехала моя знакомая из Германии Розе-Мари Пападопулос-Киллиус. С этой энергичной женщиной я впервые встретилась на германо-российской научной конференции, посвященной пятидесятилетию национального комитета «Свободная Германия».

Первые два дня конференции, которая состоялась в сентябре 1993 года, прошли в Москве. Затем работа была продолжена в Красногорске. Выступали немецкие и российские военные и гражданские историки, юристы, философы и работники архивов. Из многообразия тем и докладов на меня особое впечатление произвело сообщение дочерей генерала Вальтера фон Зейдлица о печальной участи их отца. Он был среди тех, кто стоял у истоков антифашистского движения немецких солдат и офицеров в русском плену. Уже после войны генерала по ложному доносу обвинили в шпионаже и он канул в бездны ГУЛАГа, откуда возвратился не скоро и будучи тяжело больным человеком.

На третий день настала очередь доклада, который представила Розе-Мари. Госпожа Киллиус выступала в зале музея в Красногорске, где не было кабины и аппаратуры для синхронного перевода, и мне пришлось стоять с ней рядом и последовательно переводить ее выступление.

Тема доклада была очень необычной и весьма интересной — «Чувства, отраженные в письмах немецких солдат. Страх и надежда». Такого я еще никогда не переводила. «В моем докладе, — сказала Розе-Мари, — я рассматриваю психологическую сторону второй мировой войны, психологию ее вдохновителей и ее жертв. Этим аспектом следует наконец-то заняться историкам».

Мысли Розе-Мари удивительно совпадали с моими. И я всей душой отдалась переводу доклада, который был так близок мне по содержанию. Это редкая удача, когда идеи и мысли говорящего столь близки чувствам и мыслям его переводчика. Мы познакомились.

И вот осень 1994 года, и Розе-Мари позвонила мне. Она в Москве в составе туристической группы и приглашает меня в ресторан Центрального дома литераторов, где немецкие туристы встречаются с некоторыми из русских писателей. Я была убеждена, что мое дело — помочь в переводе, но выяснилось, что Розе-Мари задумала совсем иное. Услышав от моих коллег еще в Красногорске о том, что я была переводчиком в Нюрнберге, она попросила меня после выступления наших писателей рассказать «ein bißchen» (немножко) о моих впечатлениях о процессе.

Честно говоря, я только изредка рассказывала об этом знаменательном периоде моей жизни, да и то далеко не всё и только близким друзьям. Мои соотечественники были приучены избегать воспоминаний о прошлом в более или менее широкой и случайной аудитории. Такой рассказ был для меня слишком трудным и слишком серьезным переживанием, но энергичная Розе-Мари сумела загнать меня в угол. Я почувствовала, что не могу отказать в ее просьбе, и, хотя совершенно не готовилась, повела, как умела, свой рассказ по-немецки.

Я не помню теперь в точности, что именно я говорила. Но вот пришел час расставания, и, распрощавшись с Розе-Мари и туристами, я направилась к ожидавшей меня машине. Тут из ноябрьского тумана передо мной возник довольно приятный на вид молодой человек и вежливо спросил меня по-немецки, не буду ли я так любезна ответить на один вопрос. Это был, несомненно, один из моих сотрапезников и слушателей, немецкий турист. У меня не было никаких причин отказать ему в просьбе. И он спросил меня, сколько мне лет.

Вопрос был неожиданным. Женщину обычно не спрашивают о ее возрасте. Моя тетушка, имевшая обыкновение излагать племяннице правила хорошего тона, объясняла мне, что такой вопрос иногда задают, но только для того, чтобы сделать даме комплимент, то есть в ответ на «А сколько

по-вашему?» без промедления сбросить лет десять, а то и все двадцать от истинного возраста женщины. Вспомнив тетушкины уроки, я пошла навстречу незнакомцу и предложила ему самому определить, сколько мне лет. Он посмотрел на меня пристальным взглядом и совершенно серьезно сказал: «Ах, так... Ну значит, вам восемьдесят лет...»

Это был удар. Какие уж тут правила хорошего тона, когда речь идет о добавлении к возрасту почтенной семидесятилетней старушки еще доброго десятка лет? Я была возмущена наглостью молодого человека, но согласно правилам гостеприимства сказала только, что он ошибся и что в будущем ему надо быть более осторожным в определении возраста пожилых дам. На этом мы расстались.

Только потом я сообразила, что немец не был способен поверить, что девушка двадцати двух лет отроду могла быть синхронным переводчиком на историческом процессе. И он решил прибавить мне лет десять. А ведь нам действительно было в то время всего лишь по двадцать — двадцать пять лет. Теперь, пройдя тернистый путь синхрониста, я могу утверждать, что только в таком возрасте и можно успешно начать карьеру синхронного переводчика, если, конечно, ты к этому готов. Через десять — пятнадцать лет начинать подобную карьеру уже поздно.

Но немецким туристам я рассказывала тогда совсем не об этом. Я пыталась донести до них свои впечатления и переживания. И я была глубоко убеждена, что меня поняли и что уж во всяком случае никто не сомневается в правдивости моего короткого эмоционального рассказа. Заданный мне вопрос о возрасте полностью уничтожил эту мою уверенность. Меня обидело не превращение в древнюю старуху. Дай нам Бог дожить до такого возраста в разуме и в силе. Меня огорчило непонимание того, что я говорила от всей души. Видимо, кому-то показалось, что мой рассказ о процессе был не чем иным, как выдумкой. И это несмотря на мою открытость, на стремление говорить не о событиях, а о моих чувствах и впечатлениях. С такими грустными мыслями я поехала домой.

Прошло около двух недель, и на обратном пути из поездки в Волгоград немецкая делегация вновь оказалась в Москве.

Розе-Мари пригласила меня на прощальный ужин в ресторан «Арагви», и тут я не смогла противостоять желанию рассказать всей делегации историю с незнакомцем и его вопросом о моем возрасте. Разумеется, я не указала на автора злополучного вопроса, хотя и узнала его по глазам, которые теперь внимательно смотрели на меня в освещенном зале.

Не знаю, как на кого, а на Розе-Мари мои речи произвели впечатление, и она предложила мне записать мои рассказы и размышления о Нюрнбергском процессе на русском и немецком языках и издать их вместе с ее, Розе-Мари, комментарием. В запале после успешного выступления, которое, как мне казалось, на этот раз дошло до сознания слушателей, я согласилась.

Времени на серьезную беседу у нас было мало, и мы решили, что каждая из нас все подробности своего плана изложит в письмах. А пока я решила писать текст по-русски и наговаривать его немецкий перевод на магнитофон. Мы полагали, что я буду пересылать свой готовый текст Розе-Мари для подготовки ею соответствующего комментария.

Из этой затеи ничего не вышло. Первая же попытка осуществить наши замыслы показала, что одни эпизоды моей жизни просились на бумагу на русском языке, а другие настойчиво требовали немецкого. Писать одновременно на двух языках, я думаю, даже опытным авторам (не говоря уже о начинающих) очень трудно. Что же касается собственноручного перевода повествования с русского на немецкий или с немецкого на русский, то это требует большой затраты времени: ведь автора почти никогда не может удовлетворить качество собственного перевода. Соблазн постоянного совершенствования текста, как его содержания, так и формы, слишком велик.

Поэтому я решила начать с того, что напишу всё на моем родном русском языке, а дальше — будь что будет. О результатах судить не мне. Так я приступила к работе над рукописью, еще не представляя себе в полной мере, какие трудности подстерегают меня на этом незнакомом мне поприще.

На первых порах меня, признаюсь, мучили сомнения, вправе ли я вообще ставить перед собою такую задачу, справлюсь ли я с ней. Но постепенно воспоминания завладели

мной. И если еще совсем недавно сама мысль взять и запечатлеть на бумаге мною увиденное, услышанное и пережитое казалась мне чем-то недозволенным, более того — крамольным и страшным, то теперь отказаться от рассказа о прошлом я не могла. Видно, настало время вспоминать. Может быть, потому, что события 90-х годов на моей Родине хотя и не вырвали из души полностью, но всё же приглушили чувство страха, владевшее советскими людьми — «винтиками» в годы сталинизма.

И вот возникло непреодолимое желание рассказать о пережитом. Память настойчиво уводит меня в прошлое, подтверждая справедливость слов знатока русской души Антона Павловича Чехова «Русские любят вспоминать, но не любят жить». Что касается жизни, то моя уже давно прошла. Остались одни воспоминания. И, следуя совету Розе-Мари, я обращаюсь сейчас не к моему житью-бытью в Советском Союзе до и после 1937 года и в Германии до и после 1933 года, а к одному из чрезвычайных событий моей молодости — Нюрнбергскому процессу.

Скажу только, что к тому времени два десятилетия моей жизни были уже позади. Это были годы, богатые событиями, годы сталинизма и второй мировой войны. И я успела многое пережить: детство с добрыми и умными, любящими меня родителями, их арест и связанные с ним страдания, преследования и унижения, возвращение моих любимых «врагов народа» и воссоединение нашей семьи, Великую Отечественную войну в тылу и на фронте.

Жизненный маршрут, пройденный мною до Нюрнберга, был крут. Временами мне казалось, что его прошла не я, а мой двойник, действовавший вместо меня. Сверхчеловеческие тяготы породили и укрепили во мне уверенность, что ничего чрезвычайного в моей жизни больше не произойдет.

Однако судьба распорядилась иначе. Не посчитавшись с моим желанием во что бы то ни стало вернуться домой и в нарушение закона, по которому мне после фронта полагался отпуск, она забросила меня в Нюрнберг. Но я не в обиде на судьбу за то, что мне пришлось стать одним из многих участников Нюрнбергского процесса, пусть даже

только статистом. С этими мыслями я и приступаю к своим воспоминаниям о Нюрнбергском процессе, о котором я хочу рассказать Правду, только Правду и ничего кроме Правды.

МОЙ ПУТЬ В НЮРНБЕРГ

В ветреный холодный вечер января 1946 года мне, переводчику штаба Советской военной администрации в Германии (СВАГ), приказал явиться к себе заместитель наркома НКВД Берии — сам генерал Серов. Путь от порога квартиры, где я жила, в Карлсхорсте до резиденции грозного генерала был недалек, но, пока я шла, перед моим мысленным взором промелькнули все страшные события моей молодости. Я готовилась к этой встрече, как к неизбежной гибели. Я могла бы поклясться Богом, что не совершала никаких преступлений, но была глубоко убеждена, что клятвы мне не помогут. Вызов к столь могущественному лицу означал, что моя участь, несомненно, уже решена. Опыт всей предыдущей жизни не позволял мне в этом сомневаться. Я знаю, что меня не поймут современные молодые люди, но тот, кто жил при сталинском социализме или гитлеровском нацизме, хорошо знает, что это сущая правда.

Со страхом я открыла массивную дверь, и мои налитые свинцом ноги с трудом переступили через порог серого дома, в котором в то время быстро и безжалостно решались судьбы многих немцев и русских. Мне предстояло пройти еще несколько больших пустых помещений, полы которых были покрыты коврами, и каждый раз я внутренне готовилась к предстоящей встрече и, как бы ожидая удара, втягивала живот. Только сейчас, когда я пишу эти строки, мне пришло в голову, что эта анфилада ярко освещенных комнат перед кабинетом всемогущего властелина была не простой случайностью, а хорошо продуманной системой запугивания маленького человека.

Наконец я вошла в комнату, в которой за большим письменным столом восседал Серов. Я хорошо помню его шарообразную коротко постриженную голову и сверлящий, пронизывающий посетителя взгляд. Аудиенция была корот-

кой: «Мне доложили, что вы в состоянии осуществлять синхронный перевод...». Я молчала, потому что не имела ни малейшего представления о том, что означает термин «синхронный перевод». В то время для меня существовали только письменный и устный переводы

Возникла пауза, прерванная властным голосом хозяина, который возвестил, что завтра я должна получить в штабе СВАГ все необходимые для поездки в Нюрнберг документы, а послезавтра самолетом туда отправиться. В ответ я пролепетала что-то о моих планах съездить в отпуск в Москву. «Приказ есть приказ, — сказал генерал. — Через месяц немецкие военные преступники будут казнены, и тогда вы поедете в отпуск». На этом аудиенция была закончена.

Мне была обеспечена бессонная ночь. Я была в полной растерянности и никак не могла собраться с мыслями. Чувство мучительного страха с новой силой овладело мной. Завтра мне предстоит, думала я, заполнить длинную анкету для отъезда за границу в служебную командировку. Анкету, в которой надо будет сообщить все данные о моих родственниках, происхождении, месте работы и даже о том, служила ли я в белой армии (очевидно, за два-три года до моего рождения!). А самым важным будет, конечно, вопрос о членстве в партии. В то время определенные виды работ в СССР разрешалось выполнять только членам ВКП(б). Я была уверена, что все без исключения члены советской делегации в Международном трибунале должны состоять в партии (возможно, так это и было задумано сначала). И, честно говоря, это строгое неписаное советское правило помогло мне обрести спокойствие. Я пришла к убеждению, что после заполнения анкеты моя поездка будет просто-напросто отменена из-за «запятнанной» биографии.

Загадочным оставалось лишь поведение генерала, или, точнее, его приказ отправиться в Нюрнберг без промедления. Генерал должен был знать, что для беспартийной дочери «врагов народа» такая поездка была невозможной. К тому же служебная обязанность генерала как раз и состояла в том, чтобы не допускать подобных промахов. И поэтому мне было ясно, что не позднее завтрашнего дня эта ошибка начальства будет исправлена, возможно, самым роковым для меня

образом. При везении же я могла надеяться, что получу возможность отправиться не в Нюрнберг, а домой, в Москву.

Но на следующий день все пошло как по маслу, без задержки. И — о, чудо! — без анкеты и без допроса. Худощавый отглаженный майор в штабе СВАГ, выписывавший мне дорожные документы, столкнулся лишь с одной трудностью, которую быстро преодолел с помощью большой висевшей на стене карты Германии. На ней он без труда нашел американскую зону оккупации, а в ней — Баварию и город Нюрнберг. Это позволило ему установить, что название города по-русски, как и по-немецки, пишется без «е» после буквы «р» — Нюрнберг.

На второй день после вызова к генералу я и еще три переводчика из СВАГ приземлились на аэродроме в городе игрушек и колыбели нацизма — Нюрнберге. Вот, пожалуй, и все, что можно рассказать о моем пути в Нюрнберг. Странным для меня оставалось все же одно — почему этот отъезд состоялся с такой головокружительной быстротой.

По прибытии на место все разъяснилось. Оказалось, что вначале советская делегация (судьи, обвинители, секретари, стенографистки) прибыла в Нюрнберг без переводчиков, ибо наши руководящие товарищи были убеждены в том, что в американской зоне американцы возьмут на себя не только решение всех экономических и технических проблем Нюрнбергского процесса, но и перевод на четыре языка: английский, немецкий, русский, французский. Когда же выяснилось, что синхронный перевод в зале суда разрешен только на родной язык переводчика и что, следовательно, перевод на русский с английского, немецкого и французского должен осуществляться советскими синхронистами, об этом сообщили в Москву и там начали судорожно искать переводчиков с трех других официальных языков процесса на русский.

В то время это оказалось довольно сложным делом. Поэтому-то поиски переводчиков и были поручены вездесущему НКВД-КГБ, которому надлежало выполнить задание чуть ли не за одну ночь. Тем самым подтвердилось любимое изречение нашего вождя товарища Сталина о том, что нет таких трудностей, которые не могли бы преодолеть (а мы добавим: и создать сами себе) большевики!

Прекрасно вышколенные сотрудники этого внушающего страх ведомства за 24 или (я уж не знаю точно) даже за 12 часов выполнили задание и доставили часть советских переводчиков в Нюрнберг непосредственно перед открытием процесса.

В этой безумной спешке не могло быть, конечно, и речи об обычной практике строжайшей проверки анкет и даже об их заполнении. Людей в Москве в буквальном смысле этого слова вытаскивали из постелей и в сопровождении сотрудников НКВД направляли в специальный закрытый магазин за новой одеждой, поскольку старая у большинства советских граждан была в крайне плачевном состоянии и выезжать в ней за границу не рекомендовалось. Затем следовало оформление необходимых документов, возвращение домой и прощание с перепуганными насмерть родственниками, а утром — вылет в Нюрнберг.

Я оказалась во второй группе, которую везли из Берлина в январе 1946 года. Впрочем, и здесь спешка была ненамного меньше — видно, переводчиков в первой группе оказалось явно недостаточно.

И еще об одном: не через месяц, как обещал мне генерал, а только в январе 1947 года я смогла наконец-то поехать домой. Генерал Серов ошибался, когда давал на осуждение и казнь военных преступников всего лишь один месяц. Такие «ударные» темпы соответствовали лишь представлениям о праве и справедливости ведущих советских «правозащитников». Мало ли судеб решалось в СССР безо всякого судебного разбирательства: от обвинения до исполнения приговора в 24 часа?

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АВТОРЕ

Недаром говорят: лиха беда начало. Начать писать о прошлом мне трудно. Воспоминания покоятся в моей памяти, как тяжелые камни в проточной воде быстротекущего времени. Я не в состоянии стереть с их твердой поверхности тину прошедших лет, не говоря уж о том, чтобы сдвинуть их с места. Мне кажется, что в мое описание событий прошлого,

которые были для меня такими важными, проникает какое-то серое безразличие и что потому это повествование сможет затронуть только людей, которые сами жили в сталинское и гитлеровское время или, лучше сказать, пережили его.

Что значат для последующих поколений фамилии Берия, Серов, Вышинский, Гиммлер, Кальтенбруннер? А мы, свидетели тех событий, случайно оставшиеся в живых, пытаемся воскресить ужасы прошлого и показать их молодым людям XX и XXI веков не для расширения их научных познаний в области истории, как это принято делать в учебниках и научных исследованиях. Мы стремимся донести до них свои личные переживания.

Это само по себе не требует последовательного и предельно точного изложения фактов. Речь по существу идет не о воспоминаниях, а о мыслях и чувствах человека, попавшего в определенную ситуацию. При этом личная оценка событий играет наибольшую роль, как, впрочем, и жизненный опыт, воспитание, характер, образование и мировоззрение свидетеля.

Я была очевидцем первого Международного процесса в Нюрнберге. Да, это действительно так. И пусть тот молодой человек, у которого есть сомнения на этот счет, отбросит их. Хотя я иногда и сама думаю: неужели это была я? Однако всё, о чем я собираюсь здесь рассказать, чистая правда. Я могу еще раз подтвердить это, хотя это и не облегчает моей задачи.

Напротив, я все время задаю себе вопрос: а вправе ли я вообще не только высказать мои мысли и мнения, но и представить их на суд своему возможному русскому (да, обязательно русскому!) и немецкому читателю. Поймет ли он меня? Или хотя бы сможет ли положительно воспринять малую частицу моих соображений, наблюдений и выводов? Я не забываю напоминать — простите меня, старую зануду, — что я не юрист, не историк, не писатель, не журналист и даже не дипломированный переводчик. Я вроде Одиссея. Меня зовут Никто.

Знание немецкого языка я получила в немецкой школе в Берлине, куда моего отца послали в длительную командировку, и в немецкой школе имени Карла Либкнехта в Москве. Но речь об обеих школах еще впереди. Эти свои знания на Родине я долгое время скрывала. Так было необходимо

для моей безопасности. И только когда мне было сказано, что немецкий язык срочно требуется на фронте Великой Отечественной войны, я вновь заговорила по-немецки. Это произошло на 4-м Украинском фронте в Польше, Германии и Чехословакии и, откровенно говоря, привело к довольно одностороннему обогащению моего словарного запаса. В то же время, для моей будущей работы переводчика была очень полезна служба в СВАГ и в Нюрнберге. Это была тяжелая, но очень хорошая школа.

Возвратившись на Родину и получив специальное высшее образование, я стала библиотекарем. Это был самый удачный выбор. В наше время я не могу себе представить лучшей профессии. Книги всегда были моими верными друзьями. Они никогда меня не предавали, и теперь, в моем печальном одиночестве, они хранят свою верность.

Итак, опять отклонение от темы. Но не говорите, мои немецкие читатели, что порядок превыше всего. Скажите: как можно сохранить порядок, когда хаос царит в целом мире, когда народ Толстого и Достоевского позволил обмануть себя призраком коммунизма, а народ поэтов и мыслителей — нацизмом? И даже теперь, в наши дни, мы всё еще можем перефразировать знаменитое сталинское изречение 1942 года «Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается» (что касается государства, то его в последующие годы в этом высказывании Великого Вождя не без основания опускали, оставляя только германский народ). Перефразируя эти слова, я позволю себе утверждать, что гитлеры и сталины приходят и уходят, а нацизм и коммунизм остаются. По-немецки это звучит очень складно:

Die Stalins und die Hitler kommen und gehen,
Aber der Nazismus und der Kommunismus — bleiben bestehen.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Я твердо решила начать мое повествование не с детства и юности, а сразу с Нюрнбергского процесса. Честно говоря, это решение далось мне нелегко, так как все мои наблюдения и чувства, связанные с Нюрнбергом, несут на себе

неизгладимый отпечаток переживаний, наблюдений и чувств моей юности и их нельзя отделить друг от друга.

Мои впечатления о Нюрнберге, кроме того, тесно связаны с событиями на моей Родине, ибо большевики и нацисты — близнецы. Именно поэтому русские и немцы после всего пережитого должны сделать все возможное, чтобы страшный обман народов не повторился. Ведь никакой роли не играет то, на какой сцене ставилась эта жестокая пьеса и какие лозунги и символы в ее постановке использовались: свастика или серп и молот. Подумать только, какая ужасная судьба постигла даже сами эти в сущности прекрасные символы рождения огня и созидания всего, чем жив человек! И так ли важно, под каким лозунгом ведут вас «вожди»: «Труд освобождает» или «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства»? Куда важнее вспомнить, что и тот и другой лозунги использовались в Германии и в Советском Союзе в лагерях для заключенных. Это ли не доказательство родства двух тираний?

Розе-Мари была совершенно права, когда писала мне в одном из писем, что о процессе века существует много литературы, начиная с документальных источников и кончая киносценариями. Как библиотекарь я могу без труда это подтвердить, хотя бы библиографическими указателями. Мемуары участников процесса занимают в этих указателях большое место. Подсудимые и их жены, сотрудники Трибунала (в большинстве своем юристы высокого ранга), корреспонденты, адвокаты и врачи — все они весьма прилежно возделывали это урожайное поле.

Я думаю, что теперь наконец-то настало время дать слово переводчикам. Эти свидетели были, как правило, моложе, чем, к сожалению, ныне унесенные ветром времени выдающиеся личности, участвовавшие в историческом процессе. Справедливости ради надо сказать, что сейчас и переводчики пребывают в старческом возрасте. И вот один из них — пожилая русская женщина, москвичка, библиотекарь, синхронный переводчик в зале заседаний Нюрнбергского процесса, а ныне пенсионерка — через 50 лет решается рассказать о впечатлениях, чувствах, открытиях и потрясениях молодой девушки, какой она в 1946 году вошла в нюрнбергский Дворец юстиции.

Я не хочу повторять того, что уже написано и опубликовано, и не сделаю этого. Опасность повторений грозит скорее специалистам, занимающимся научной проблематикой и описанием юридических основ процесса. Я же предприму попытку рассказать о человеческих переживаниях и донести до русского и немецкого читателя XXI века чувства и мысли простого свидетеля событий, которые в то далекое время лишили этого свидетеля душевного покоя и радости жизни и которые не угасли и по сей день, — мысли и чувства, которые, может быть, позволят нашим двум народам не допустить повторения пройденного и сделать хотя бы маленький шаг на пути к настоящей, человеческой, никем не навязанной дружбе.

Я должна ныне вновь направиться во Дворец юстиции, чтобы не только вспомнить, но и ощутить то время таким, каким оно было для меня в 1946 году.

В ТЮРЬМЕ

Утром следующего после нашего приезда в Нюрнберг дня мы отправились на стареньком советском автобусе к месту предстоящей работы, в мрачное, тяжеловесное здание Дворца юстиции на Фюртерштрассе. Оно вместе со связанной с ним подземным ходом тюрьмой чудом уцелело в превращенном в руины средневековом Нюрнберге. Потребовался лишь ремонт, чтобы в 1946 году в этом здании свершилось правосудие.

В мой первый нюрнбергский день я так волновалась, что передвигалась, как во сне, и, пройдя через чугунные ворота в каменной ограде, отделявшей Дворец от широкой и прямой улицы Фюртерштрассе, ничего вокруг не замечала. Я покорно следовала за приехавшими ранее переводчиками, которые уже успели освоиться в нескончаемых лабиринтах Дворца юстиции. Волнение, которое, очевидно, было связано с осознанием значимости события, происходившего в моей тогда еще короткой двадцатидвухлетней жизни, лишило меня способности запомнить путь, проделанный нами от автобуса до рабочих комнат Советской делегации, что и

привело, можно сказать, к трагическому завершению моего первого дня в нюрнбергском Дворце юстиции.

Дело в том, что после окончания заседаний суда синхронные переводчики обычно на том же автобусе возвращались в отведенные им на окраине города виллы, если, конечно, не возникала необходимость помочь письменным переводчикам выполнить срочный перевод. Что же касается нас, новичков, то наш первый рабочий день был заполнен представлением начальству, ознакомлением с условиями и порядком работы, получением пропусков и другими формальностями.

Погруженная в мысли, нахлынувшие на меня после первого посещения Дворца юстиции, я продолжала сидеть за рабочим столом, не замечая, что мои коллеги уже покинули комнату и пошли к автобусу, который ждал нас за оградой Дворца.

В результате мне пришлось самостоятельно искать дорогу к выходу. Эта, на первый взгляд, простая задача оказалась мне не по плечу. Выйдя из рабочей комнаты, я не обнаружила никаких указателей и пошла наугад по бесконечным коридорам, переходам и лестницам. Все мои попытки найти выход из лабиринта оказались безуспешными, а кругом не было ни души. Чувствуя, что заблудилась, я ускорила шаг. Мысль о том, что автобус уедет без меня и что я в чужом городе без денег и без точного адреса вряд ли доберусь к ночи до моего нового пристанища, а, может статься, и вообще не доберусь, повергла меня в уныние.

И вот я, еще так недавно фронтовой разведчик, потеряла ориентировку и уже не шла, а бежала по какому-то длинному переходу, в котором не было ни окон, ни дверей, но ощущалась какая-то особенная прохлада, что позволяло мне надеяться на приближение к выходу, а значит, и к автобусу.

В конце перехода была дверь без таблички, я толкнула ее и... В тот же миг я оказалась во власти двух здоровенных солдат, представителей американской военной полиции — military police, или сокращенно MP (эм-пи). Они, не говоря ни слова, подхватили меня под руки, куда-то повели и втолкнули в комнату с зарешеченным окном.

Меня арестовали, заперли! Я в тюрьме. Эта мысль мгновенно пронзила меня и лишила дара речи. Сомнений быть

не могло. Хорошо знакомые мне по Бутырской тюрьме, куда я ходила на свидания с отцом, тюремные окна во всех странах похожи друг на друга. Их главная примета — решетка.

Откуда-то изнутри подползло к горлу всепоглощающее чувство страха, оно душило меня, и в голову стали приходить пугающие мысли. Что скажет американское тюремное начальство? Как объяснить ему, да к тому же на доступном мне «англо-немецком» языке, мое появление в здании тюрьмы, куда во все времена и во всем мире вход без особого разрешения строго воспрещен?

Но еще страшнее казалась другая опасность, грозившая не только мне, но и моим близким в Москве, опасность, которую можно назвать одним понятным каждому советскому человеку того времени коротким словом — «ГУЛАГ».

Эта опасность была вполне реальной, ибо в моем случае речь шла о «тайной», не предусмотренной советскими спецслужбами встрече с иностранцами. Да к тому же еще на территории тюрьмы, в которой содержались главные нацистские преступники. Для советского следователя 40-х годов состав преступления был налицо и не требовал никаких дополнительных доказательств. Оставалось только назвать меня агентом американской или даже нацистской разведки, корни которой, несомненно, сохранились в американской зоне оккупации.

Такое развитие событий казалось мне неизбежным. Более того, миллионы моих сограждан могли бы подтвердить реальность этих опасений и отсутствие в них бредового начала. Я сидела на стуле пусть еще не в камере, но в тюремной комнате и не переставала задавать себе самой один и тот же вопрос: «Какого черта я, дочь добрых, честных и бесконечно любимых мною «врагов народа» поехала в этот треклятый Нюрнберг?». И тут же сама отвечала на него: мне был дан приказ, и не какой-нибудь штабной крысой, а заместителем самого Берии генералом Серовым.

В таких мрачных раздумьях я провела, наверное, всего несколько минут, которые показались мне вечностью. Внезапно дверь распахнулась и в сопровождении американского офицера и двух уже знакомых мне «эм-пи» в комнату вошел, нет, скорее ворвался наш переводчик Костя.

«Наконец-то я нашел тебя!» — были его первые слова, которые мы потом так часто повторяли друг другу. Оказывается, мои новые коллеги заметили мое отсутствие, подняли тревогу и срочно отрядили Константина на поиски пропавшей переводчицы, а сами остались терпеливо ждать нас в автобусе.

Все мои страхи оказались напрасными. На этот раз пронесло! Более того, у этой истории был счастливый конец, что не так уж часто случается в стенах тюрем. Костя нашел там не только заблудившуюся переводчицу, но и свою будущую жену. А я — интересного и умного спутника жизни на долгие годы!

ПРОПУСКА

«Тише едешь — дальше будешь», — говорят мои соотечественники. «Eile mit Weile!» — принято говорить у немцев. Мысленно я уже во Дворце юстиции, но все еще не в зале заседаний Международного военного трибунала. Об этом будет особый разговор. И он обязательно состоится. Залогом тому служат два пропуска, которые я достаю из большой кожаной сумки, где вот уже 50 лет хранятся вещественные свидетельства моего пребывания в Нюрнберге.

Пропуска — это две картонные карточки. Одна — голубая с фотографией в правом углу, с которой сосредоточенно и серьезно смотрит на меня молоденькая девушка с черной грифельной доской на груди. На доске мелом, печатными буквами латинского алфавита начертаны мои имя и фамилия. Это документ, дающий его владельцу право на вход во Дворец юстиции.

Другая карточка — коричневого цвета, без фотографии, но со строгим предупреждением на обороте, напечатанным на четырех языках. Предупреждение гласит: «Владелец этого пропуска имеет доступ в запретную зону и в помещение суда. Пропуск может быть отобран или временно изъят за нарушение каких-либо правил, установленных Международным военным трибуналом, как ныне действующих, так и изданных впоследствии».

Эти документы следовало предъявлять при входе в здание Дворца юстиции и при входе в зал заседаний суда, где

безраздельно властвовала американская военная полиция — Military Police. Казалось, что строжайший контроль обеспечен. Однако не могу не вспомнить два чрезвычайных и в своем роде комических происшествия, рассказу о которых я дам заглавие «Две собаки».

ДВЕ СОБАКИ

Один из аккредитованных на процессе корреспондентов, не помню: то ли французский, то ли английский, но уж, конечно, не советский, решив, очевидно, что он без труда сможет перехитрить даже самую бдительную охрану, приклеил на пропуск фотографию своего любимого мопса в спортивной шапочке и при галстуке.

С этим пропуском корреспондент без каких-либо затруднений миновал контроль и к началу заседаний был в зале суда. Мне неизвестно, какое именно выиграл он на этом деле пари, однако все знакомые (и его, и мопса) уверяли, что причина тут вовсе не в недостаточной бдительности охраны. Дело в том, что этот корреспондент и его мопс, были, как это часто бывает с хозяевами и их собаками, очень похожи друг на друга — ну просто одно лицо! Поэтому не следует сомневаться в надежности американской военной охраны. Тем более что, как бы то ни было, повторить этот трюк больше никто не решился.

Главным нарушителем спокойствия во втором случае был огромный дог, белый с черными пятнами. Его владелец опаздывал на утреннее заседание Трибунала и в спешке не запер дверь своего номера в гостинице, чем и воспользовался его верный четвероногий друг. Вслед за хозяином он направился во Дворец, благополучно прошел первый контрольный пост у входа в здание и затем по коридорам и лестницам, безошибочно (не то что некоторые!) определяя направление, проследовал к залу заседаний суда.

Никто не решился, или, вернее, не посмел, остановить этого гордого аристократа, представителя старой английской породы. Охрана позволила себе лишь молча сопровождать его, соблюдая определенную дистанцию. Задержать собаку на пути к хозяину значило бы лишить ее жизни.

Неизвестно, чем бы кончилось дело, но, к счастью, американские «эм-пи» успели предупредить начальника охраны, а тот каким-то чудом смог разыскать в зале и привести владельца собаки. В тот момент, когда дог уже опустил лапу на массивную ручку двери, намереваясь проникнуть в зал заседаний суда, перепуганный хозяин вежливо, но настоятельно помешал ему это сделать.

Честь военной охраны США, как и честь собаки, была спасена, заседание Трибунала продолжалось как ни в чем не бывало, и в зале суда никто не заметил возни у одной из дверей.

О РАБОТЕ ОХРАНЫ

Справедливости ради надо сказать, что работа американской военной охраны очень редко могла служить материалом для веселых рассказов. Охранять Дворец юстиции, тюрьму, участников процесса и, наконец, — самое главное — подсудимых было делом нелегким.

Помню, как в мою переводческую смену один из охранников, неподвижно стоявший, заложив руки за спину, в шеренге американских солдат, которые охраняли подсудимых, внезапно исчез за деревянным барьером. Заседание суда не было прервано. Оно продолжалось так, как будто ничего не случилось. Можно было только догадываться, как этот, видимо, потерявший сознание солдат смог пролежать до очередного перерыва в узком проходе между стеной зала и деревянным барьером, ограждавшим скамью подсудимых, да еще и под ногами своих товарищей.

Другой запомнившийся мне эпизод доставил начальнику охраны полковнику Эндрюсу много волнений и хлопот, но тревога оказалась ложной. Однажды летом, придя на работу, мы обнаружили у каменной стены Дворца юстиции танк, а в коридорах Дворца вооруженных автоматами американских солдат. Вся охрана была приведена в боевую готовность. Оказалось, что из ближнего лагеря сбежали пленные эсэсовцы, которые как будто бы собирались не то освободить гитлеровских главарей, не то, напротив, казнить их за проигрыш войны. Возможно, это были просто слухи,

поскольку за ними ничего не последовало, если не считать сенсационных описаний этого случая сначала в зарубежных газетах и журналах того времени, а затем и в воспоминаниях некоторых участников процесса.

Однако не всегда всё кончалось благополучно для охраны и в первую очередь для её начальника. Известно, что еще до начала суда в своей камере повесился имперский руководитель трудового фронта, один из матерых нацистов Роберт Лей. Этот случай послужил поводом к усилению тюремной охраны и к установлению круглосуточного наблюдения за каждым подсудимым. И что же? Это не помешало Герингу в ночь перед казнью раскусить в камере ампулу с цианистым калием.

Остается добавить, что многие представители охраны, имевшие дело с подсудимыми, владели немецким языком и, как правило, с напряженным вниманием вслушивались в их разговоры между собой во время перерывов в зале суда. Это входило в их обязанности.

В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ СУДА

Наконец, я в зале заседаний Международного военного трибунала. Меня, как и других новичков, пустили или, точнее, привели на очередное заседание суда для знакомства с обстановкой, в которой нам предстояло работать. Такая подготовка была необходима, и её, имея пропуск в кармане, можно было повторять, благо суд заседал ежедневно, кроме воскресенья, с десяти часов утра до пяти вечера с часовым перерывом на обед.

Подробно описывать общий вид зала суда нет никакой необходимости, так как это уже сделано многими авторами. Кроме того, этот зал запечатлен на кинопленках и многочисленных фотографиях, которые во время процесса публиковались в журналах и газетах всего мира, да и сейчас еще изредка появляются в мировой прессе. Один мой знакомый, вернувшись в свое время из туристической поездки в ФРГ, рассказал, что зал заседаний суда показывают туристам как одну из достопримечательностей Нюрнберга. И я в душе

позавидовала туристам — так мне захотелось еще раз прикоснуться к моей молодости.

Зал небольшой, стены его облицованы дубовыми панелями и местами украшены темно-зеленым мрамором. На полу — заглушающий шаги ковер, окна наглухо зашторены тяжелыми портьерами, скрытые светильники освещают помещение рассеянным светом, так что зал кажется полностью изолированным от внешнего мира.

Черные мантии шести американских, английских и французских судей (двое советских судей — в военной форме), черные и лиловые мантии защитников (только защитник Редера в военно-морском мундире), неподвижный ряд солдат военной полиции США в белых касках, белых поясах и белых перчатках позади двух длинных скамей для подсудимых — всё это подчеркивает торжественность и в то же время суровость царящей в зале атмосферы, создаваемой не только внешним оформлением, но, в первую очередь, напряженно работающими здесь людьми.

Члены Международного военного трибунала, созданного четырьмя союзными державами для справедливого суда и сурового наказания главных нацистских военных преступников, и все участники процесса осознавали главное — историческую значимость процесса и важность возложенной на каждого из них миссии независимо от той роли, которая была ему лично отведена на арене международного правосудия.

Работа была действительно очень тяжелой. Она требовала ото всех без исключения предельного напряжения душевных и физических сил. Ведь речь шла не только о наказании преступников, но и о патологоанатомическом вскрытии нацистской идеологии и политики, для того чтобы их суть была ясна современникам и последующим поколениям.

Почти каждый день судебного разбирательства был ожесточенной битвой, в которой упорно противостояли друг другу представители обвинения и защиты — последней линии обороны подсудимых, как её метко назвали известные советские художники-карикатуристы Кукрыниксы. Оружием и той и другой стороны были документальные и вещественные доказательства, письменные и устные показания свидетелей и, наконец, показания самих подсудимых.

Обращенные к Международному военному трибуналу слова главного обвинителя от США Роберта Джексона о том, что доказательства обвинения будут ужасающими и что они лишат Трибунал сна, полностью оправдались. Представленные обвинением документы действительно ужасали, а показания свидетелей часто приводили присутствующих в оцепенение.

Нередко участники процесса наблюдали ни с чем не сравнимую схватку умов, требовавшую блестящего ораторского искусства, в которой с особой яркостью проявлялась сила слова. Одолеть эту силу противнику порой не удавалось вовсе или удавалось с большим трудом.

За последней битвой второй мировой войны с неусыпным вниманием следил высокий суд, который не давал ее участникам нарушить зафиксированные в Уставе Трибунала процессуальные нормы правосудия, что ни в коей мере не приводило к ущемлению прав защитников и подсудимых. Им была дана полная свобода высказывать и защищать свои позиции по всем разделам обвинительного заключения и по всем вопросам, возникавшим в ходе судебного разбирательства. И адвокаты, которые взяли на себя трудную задачу защиты нацистов, совершивших тягчайшие преступления, не «преминули воспользоваться предоставленной им возможностью и, не щадя живота своего, пытались если не оправдать, то по крайней мере смягчить вину своих подзащитных.

Навсегда запомнились два постулата, часто повторявшиеся защитой: «Победителей не судят» и «Nullum crimen sine lege» — «Нет преступления вне закона».

В этом кипении человеческих страстей спокойствие удавалось сохранять только судьям, которые лишь в редких случаях не могли скрыть своего волнения. Нам неведомо, например, какие воспоминания и сравнения возникали у генерал-майора юстиции члена Международного трибунала от СССР Ионы Тимофеевича Никитченко, еще в 1918 году бывшего председателем военного трибунала и с тех пор ни добровольно, ни принудительно не покидавшего юридического поприща. Неужели в зале суда в Нюрнберге он ни разу не вспомнил о жертвах своей юридической деятельности, которых за эти без малого 30 лет было предостаточно?

Но непроницаемые советские судьи, просидевшие весь процесс с каменными, ничего не выражающими лицами, по моим наблюдениям, не на шутку взволновались дважды: в первый раз, когда на заседании суда речь зашла о дополнительных секретных протоколах к советско-германским договорам от 23 августа и 28 сентября 1939 года, и во второй раз, когда рассматривался вопрос о расстреле польских офицеров в Катыни.

Думаю, что о секретных протоколах наши высокие судьи, как и мы, простые смертные, впервые узнали на суде. Что же касается Катынского расстрела, то полагаю, что им были слишком хорошо известны советские методы физического уничтожения людей, более того — находясь на ответственных постах в юридическом аппарате Советского Союза, они просто не могли не принимать участия в кровавых деяниях большевистской власти.

Как бы то ни было, но эти и многие другие коллизии, происходившие в суде, так же, как и различие взглядов членов суда, не нарушили их единства, на что так надеялись подсудимые и их защитники. Немалая заслуга в этом принадлежит председателю суда, лорду-судье Джеффри Лоренсу, умному, эрудированному, знающему свое дело профессионалу и удивительно симпатичному, внешне чем-то напоминающему диккенсовского мистера Пиквика человеку. К нему, как мне кажется, все относились с нескрываемой симпатией и уважением. Он умело вел заседания, не теряя присущей ему доброжелательности и в то же время не допуская нарушений Устава и Регламента Трибунала. К этому необходимо добавить, что единство суда обеспечивалось и чудовищной тяжестью совершенных нацистами преступлений.

БЛИЗНЕЦЫ-БРАТЬЯ

Пишу и чувствую, что всё это только слова, которые никого не заставят содрогнуться и никого не лишат сна. Они не способны передать ни атмосферы, ни накала судебных заседаний. Тем более если свидетель исторического события впервые взялся за перо и природа не наградила его необхо-

димым талантом. К тому же его восприятие и восприятие читателя в значительной мере зависят от всей предшествующей жизни, от миропонимания человека. Поэтому вряд ли увенчается успехом попытка рассказать о событии прошлого, не излагая последовательно ход его развития, а сообщая лишь мысли и чувства, обуревавшие тогда двадцатидвухлетнюю девушку, и те мысли и чувства, что приходят сейчас к одинокой старухе, читающей вышедшие за последние 50 лет книги о процессе и часами наблюдающей, как напротив ее квартиры зажигаются и гаснут огни в окнах больших безликих домов, за грязно-серыми стенами которых пульсируют тысячи чужих жизней.

Многие участники Нюрнбергского процесса писали и до сих пор пишут о том, что происходило во Дворце юстиции в 1945—46 годах, не говоря уже о тех историках и юристах, которые изучали процесс главным образом по архивным документам, стенограммам и книгам, благо материалов великое множество. Отбор, изложение и тем более оценка фактов в них различны, нередко диаметрально противоположны. Да иначе и быть не может.

В этой связи мне вспоминается одна встреча советских участников процесса (юристов, журналистов, переводчиков). Она состоялась в Москве через 20 лет после его окончания. Тогда все еще были живы и собрались на квартире у одного из наших коллег, чтобы отметить круглую дату.

После застолья мы углубились в воспоминания и кто-то предложил, чтобы каждый из нас написал на листе бумаги, что ему больше всего запомнилось на процессе и оставило неизгладимый след в душе.

Предложение было принято. И что же? Ответы оказались самыми разными. Кого-то поразило внезапное закрытие работавшего во Дворце юстиции магазина, где члены делегаций покупали паркеровские ручки, носовые платки, предметы туалета и иные мелочи. Другим же более всего запомнились допросы фельдмаршала Паулюса, коменданта лагеря Освенцим Рудольфа Гёсса и свидетелей по делу о расстреле польских офицеров в Катыни. Нередко один и тот же факт воспринимался каждым из нас по-разному, в зависимости от личного опыта и сложившихся убеждений,

которые развиваются на протяжении всей жизни под воздействием внешних событий и душевных переживаний.

Выявить глубинные причины различной интерпретации и оценки конкретных событий весьма сложно, особенно когда речь идет о гражданах тоталитарных государств. А уж мы, советские люди, были приучены с детских лет скрывать собственное мнение и не высказываться по политическим вопросам в кругу сослуживцев, знакомых и даже друзей и родственников. Если же обстоятельства все-таки вынуждали нас высказываться, то в те времена мы, как заученный урок, повторяли официальную точку зрения или, что было самым безопасным, цитировали нашего любимого вождя, который, как известно, был «во всех науках главный корифей».

В Нюрнберге каждый член советской делегации отдавал себе отчет в том, что любое неудачное или, точнее, неугодное властям высказывание для него крайне опасно. Тем более опасно малейшее вольное или невольное отступление от линии поведения, предписанной нам, представителям Советского Союза, за рубежом. Это строгое предписание исходило от Коммунистической партии и в данном случае конкретно от специально созданной в Москве правительственной комиссии по руководству Нюрнбергским процессом. Комиссию эту возглавлял не кто-нибудь, а беспощадный и к тому же беспринципный Андрей Януарьевич Вышинский. Тот самый Вышинский, который в 1938 году был государственным обвинителем на печально известном Московском процессе так называемого правотроцкистского блока. Писаны ли были эти строгие правила или как бы подразумевались сами собой, но их нарушение грозило в лучшем случае отправкой из Нюрнберга и потерей работы на Родине, а в худшем — тюрьмой и даже потерей жизни.

Так это было в сталинские годы в многострадальном социалистическом Советском Союзе. И мы хорошо усвоили этот неписаный закон, перед которым все были равны: и генерал, и рядовой, и судья, и переводчик. Кара за малейшие ошибки и проступки, да и вообще ни за что, а просто так, по доносу завистника или секретного сотрудника, которых в советской делегации было больше, чем достаточно,

могла настичь нас везде. Каждый мог полагать, что расправа будет жестокой и беспощадной.

Наши секретные агенты в Нюрнберге были, как правило, в чинах и погонах или же без погон и без определенных занятий. Правда, иногда им приходилось, большей частью для отвода глаз, выполнять задания, связанные с Международным процессом. Однако их основная работа заключалась в слежке за всеми и за каждым в отдельности в целях «разоблачения преступной связи советского гражданина с иностранной разведкой». Доклады начальству о каких-либо высказываниях и действиях антисоветского характера они должны были писать регулярно. Поэтому, если таковых высказываний и действий не было, их следовало выдумывать. Как говорится, «ни дня без строчки». Служба соглядатаев должна была работать бесперебойно.

Надежными помощниками профессиональных секретных агентов были добровольные осведомители — наши коллеги. Дружная совместная работа не мешала некоторым из нас строчить доносы на своих товарищей, вызывавших у них чувство зависти или неприязни.

Современному человеку не надо доказывать, что такие службы, а следовательно, и работники необходимы любому цивилизованному государству, если оно хочет обеспечить свою безопасность. Это понятно всякому. Трагедия гражданина тоталитарного государства заключается в том, что как бы он ни был чист и безгрешен перед Родиной, его могут заподозрить и обвинить в совершении любых самых тяжких политических преступлений, арестовывать, унижать, допрашивать, пытать, заключать в тюрьмы и концентрационные лагеря и, наконец, убивать. Но и этого мало. Опасность грозит и его семье, его родственникам и даже знакомым. Мне ли было этого не знать!

Нашим внукам, возможно, такого уже не понять. Они обычно скептически относятся к рассказам стариков о социализме и нацизме, да и иные старики, благополучно прожившие свою жизнь во времена диктаторов, проявляют удивительную склонность к идеализации минувшего. А впрочем, чему удивляться, если подобный почитатель в прошлом получал из государственной кормушки больше

чем достаточно, да к тому же мог давать волю своим низменным страстям и инстинктам? Такому уже ничего не докажешь.

Но вы, наши внуки, должны это знать. И вы вправе задать нам вопрос, где искать доказательства, с одной стороны, величайших жестокости, алчности, лживости и глупости человека в условиях тирании и, с другой стороны, его страданий, мужества и благородства? Я отвечу. Таким огромным и неопровержимым доказательством является Нюрнбергский процесс. Вслушайтесь, как мы, в ход судебного разбирательства, сравните, сопоставьте, и вы увидите, что многое, если не почти всё, звучавшее на процессе относится к любому из тоталитарных государств. Как бы они себя ни называли: нацистскими, фашистскими или «социалистическими», — они подобны близнецам-братьям.

Отдаю себе отчет, что последнее утверждение, да еще высказанное столь безапелляционно, вызовет решительный протест фанатичных сторонников большевизма, с удивительным упорством разглагольствующих о «выдающихся достижениях» и «великих завоеваниях» народов под мудрым руководством любимого вождя. Кто дал право какой-то девчонке, бывшей тогда всего лишь переводчиком на Нюрнбергском процессе, сделать такой возмутительный вывод о кровном родстве столь различных государств и пятьдесят лет спустя, вопреки здравому смыслу, настаивать на правомерности этого вывода? Где доказательства такого кровного родства? Разве не идет речь в случае гитлеровского рейха о тягчайших преступлениях, а в случае СССР — всего лишь о трагических ошибках и отдельных злоупотреблениях? Нет, нет и еще раз нет!

Все различия меркнут перед сходством режимов, агрессивных и жестоких, пользовавшихся схожими, а нередко и одинаковыми методами тотального оглупления, морального унижения и физической ликвидации своих подданных и иностранных граждан. А ведь речь шла о миллионах человеческих жизней!

Итак, на два законных вопроса негодующих советских партийцев и немецких «партайгеноссен» (партийных товарищей): «Кто дал право?» и «Где доказательства?» — я обязана и могу дать ответ. Права назвать близнецами СССР и

нацистскую Германию мне никто не давал. Это право можно дать только себе самой. И на этих страницах я впервые решилась писать только правду, а это значит рассказать о том, что было мною выстрадано на скамье переводчиков в Нюрнберге.

Признаюсь, что принять такое решение было нелегко. Мешал страх, с детства овладевший мной и до сих пор, на восьмом десятке дающий о себе знать, когда я думаю о пережитом или когда слышу поздним вечером громкий настойчивый стук в дверь. В этот момент мозг автоматически выдает леденящий душу сигнал: «За мной пришли!».

Что же касается второго вопроса или, точнее, требования представить доказательства близкого родства двух диктатур, то я безоговорочно принимаю его и в моих воспоминаниях буду по мере сил приводить эти доказательства. В двух словах и на одном примере такого не сделать, но пусть это будет одной из важных задач моей работы.

Нюрнберг научил меня ценить силу подлинных доказательств, заставлявших замолкать нацистских преступников. Именно доказанность преступных деяний не только делает Нюрнбергский процесс значительным событием для Истории, но и позволяет использовать материал процесса как ценнейшее свидетельство преступного характера и античеловечности как третьего рейха, так и других тоталитарных государств.

Волею судьбы попав на Нюрнбергский процесс, наблюдая и слушая происходившее в зале заседаний и за его пределами, я сердцем и душой ощущала удручающий параллелизм в действиях двух диктаторов и их подручных. Сравнения напрашивались сами собой. Ничего не надо было придумывать. Они возникали незаметно, вплетаясь в речи обвинителей, защитников и подсудимых, в представляемые документы и, наконец, в устные и письменные показания свидетелей. Память сама высвечивала факты советской действительности тридцатых-сороковых годов, настойчиво указывая на их сходство с событиями в нацистской Германии. Это сходство большевизма и нацизма, с предельной ясностью подтверждавшееся в Нюрнберге, было и остается для меня самым тяжелым переживанием и в зале суда, и в последующие годы, когда на моей

многострадальной Родине множились и по сей день множатся доказательства тесного родства двух тоталитарных режимов XX века.

Я отдаю себе отчет в том, что свидетель событий, пишущий воспоминания, будь то статист или кто-либо из главных действующих лиц, не имеет права ограничиваться излияниями чувств, которые сами по себе в современном мире вряд ли могут кого-нибудь заинтересовать и тем более тронуть. От свидетеля не ждут также и научного анализа, а требуют, чтобы все его показания были подтверждены фактами. В данном случае фактов больше чем достаточно. Ими насыщена моя жизнь, Нюрнбергский процесс и события последующих пятидесяти лет. Факты не надо искать, они лежат на поверхности. Остается только сравнить их, а сравнение, как я уже сказала, часто напрашивается само собой.

И я клянусь Богом, всемогущим и всеведущим, что буду писать Правду, только Правду, ничего кроме Правды. Да поможет мне Бог!

С этими словами нюрнбергской присяги я мысленно возвращаюсь в зал судебных заседаний и иду на свое место в кабине переводчиков. Кабина — рядом со скамьей подсудимых и отделена от нее толстым стеклом.

ПОДСУДИМЫЕ: КАЛЬТЕНБРУННЕР И ШТРЕЙХЕР

Когда входишь в зал суда, глаза невольно ищут тех, кто был виновником страданий миллионов людей, тех, кого мы поминали недобрым словом в годы войны в окопах и в тылу, в городах и деревнях на необъятных просторах Советского Союза. Воображение рисовало главарей третьего рейха если не уродами, то по крайней мере людьми, внешность которых отмечена «особой метой». Казалось, иначе быть и не может. Но на скамье подсудимых за деревянным барьером сидели самые обыкновенные люди, на которых при встрече на улице вряд ли обратишь внимание.

Исключение составляли, пожалуй, два человека, внешний вид которых вызывал резкую неприязнь, более того — какое-то внутреннее отвращение. Я имею в виду обергруппенфю-

рера СС Эрнста Кальтенбруннера и идеолога антисемитизма Юлиуса Штрейхера.

Уверена, что, если бы к вам в комнату неожиданно вошел ближайший помощник Гиммлера Кальтенбруннер, вы бы содрогнулись. Его удлиненный череп с тяжелым подбородком, обтянутый темной кожей со шрамами, которые были получены в молодости на студенческих дуэлях, и холодный ненавидящий взгляд выдавали в нем беспощадного палача.

Организатор еврейских погромов в Баварии Штрейхер выглядел совсем иначе: маленький старичок с редкими кустиками седых волос на плешивой головенке. Казалось, он не мог своим видом вызывать резко отрицательных эмоций, но его гадливо искривленный рот и какой-то липкий взгляд маленьких бегающих глаз вызывали особое отвращение. Не меньшее отвращение возбуждали и статьи, печатавшиеся в издаваемой Штрейхером бульварной газетенке «Der Stürmer» («Штурмовик»), в которых с нескрываемым удовольствием смаковались главным образом сексуальные измышления редактора и его антисемитской команды.

КАК МЕНЯ ВЫРУЧАЛ ШТРЕЙХЕР

Много лет спустя, после того, как я вернулась в Москву и, окончив Московский библиотечный институт, работала в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина, мне нередко приходилось знакомить с нашей национальной библиотекой западногерманских библиотековедов. Экскурсия по библиотеке обычно завершалась профессиональной беседой с зарубежными коллегами. И нередко они среди многих вопросов поднимали вопрос о существовании в Ленинской библиотеке отдела специального хранения и о критериях отбора литературы в его фонд.

Этим фондом читатели могли пользоваться только по особому разрешению дирекции библиотеки. Не секрет, что в советское время одним из главных критериев изъятия книг из основного фонда библиотек и передачи их в спецхран была так называемая «идеологическая направленность». Если учесть, что эту направленность обычно определяли

по фамилии или даже по национальности автора, то можно себе представить, каким потоком поступала советская и иностранная литература в отдел специального хранения. Достаточно сказать, что научные труды, принадлежавшие перу выдающихся ученых, и произведения писателей, репрессированных в годы советской власти, были изъяты из фондов библиотек страны и хранились в спецхранах научных библиотек в единственном экземпляре. Остальные экземпляры подлежали уничтожению. Всё это было очень похоже на участь прогрессивной литературы в библиотеках нацистской Германии.

Представьте себе два списка запрещенных книг: один на немецком, другой на русском языке. В первом — труды Макса Борна, Альберта Эйнштейна, произведения Генриха Гейне, Эриха Марии Ремарка, Людвига Ренна и многих других ученых, мыслителей и писателей. Во втором — труды Николая Кольцова, Николая Вавилова, Павла Флоренского, произведения Николая Клюева, Осипа Мандельштама, Исаака Бабеля и многих других.

Перечисление сожженных, пущенных под нож и запертых в спецхраны книг можно продолжить. Счет шел на тысячи названий. Здесь я позволю себе лишний раз подчеркнуть, что и в Союзе Советских Социалистических Республик, и в нацистской Германии не ограничивались уничтожением одних только плодов «вредной» или «вражеской» мысли великих ученых и писателей. Самих поэтов и мыслителей, гордость нации и государства, ставших в одночасье «врагами народа», если их не прибрал Бог или они сами не успели уехать, ссылали, держали за решеткой, расстреливали или, в лучшем случае, вышвыривали за границу по воле диктаторов.

Разве это не роднит первую страну социализма с третьей империей или третью империю с первой социалистической страной? Уж не знаю, в какой последовательности их называть, чтобы не так больно и обидно было за свое Отечество.

Обо всем этом могут рассказать многие и советские, и немецкие библиотекари, которые держали списки запрещенной литературы в своих руках и, не страшась грозящей им опасности, вопреки приказам, надежно прятали многие опальные книги в такие закоулки необъятных книгохранилищ научных библиотек, в какие не могло заглянуть недре-

манное око казенного начальства. Здесь эти книги благополучно дождались своего возвращения к читателям.

Да простят мне это отступление от избранной темы, которое станет понятным, если я повторю, что я профессиональный библиотекарь и не могу пройти мимо хорошо мне известных и неопровержимых фактов, подтверждающих родство двух тоталитарных государств.

Но, кстати, спросите вы, почему библиотечная тема всплыла именно на этих страницах? Как ни странно, гнусная репутация одного из упомянутых мной подсудимых была моей палочкой-выручалочкой в случаях, когда дотошные коллеги из Западной Германии задавали мне вопрос о комплектовании фонда спецхрана. По собственной инициативе советский экскурсовод предпочитал этого вопроса не касаться. Но уж если гости его задавали, я, как за спасательный круг, хваталась за «Штюрмера» Юлиуса Штрейхера. Этот прием никогда не давал осечки.

Хорошо известное немецким библиотекарям моего поколения содержание этого круто замешанного на порнографии антисемитского листка ни у кого не могло оставить никаких сомнений в необходимости изъять его из фонда любой библиотеки. Разногласий по этому поводу между культурными людьми никогда не возникало. Более того, всем было стыдно, что подобное, с позволения сказать, периодическое издание вообще могло когда-то, где-то выходить в свет. После такого примера вопросов о спецхране больше не задавали и мне не стоило никакого труда перейти к научным проблемам теории и практики библиотечного дела.

ЖЕНЫ

Воссоздавая в памяти внешний вид Кальтенбруннера и Штрейхера, нельзя умолчать о том, что их, как, впрочем, и многих других подсудимых, невозможно было причислить к тем, кого по разработанной нацистами расовой теории следовало считать «чистыми арийцами». Очевидно, стараясь исправить эту явную ошибку природы, большинство несостоявшихся представителей нордической расы связало свою

судьбу с немецкими женщинами, отвечавшими нацистскому идеалу, а именно со стройными, крепкотелыми и здоровыми блондинками.

Одна из них, Адель Штрейхер, по ходатайству мужа была вызвана в суд в качестве свидетельницы защиты. Было удивительно, почему за несколько дней до окончания войны она сочеталась законным браком с Юлиусом, у которого была секретаршей. На такой вопрос эта хорошенькая, юная, пышущая здоровьем блондиночка в длинном платье из красного бархата ответила: «Он сказал, что идет на баррикады». Никаких фактов, которые бы смягчали вину ее супруга, специализировавшегося в нацистской Германии на ликвидации евреев, свидетельница привести не смогла. Оставалось предположить, что Штрейхер вызвал жену для того, чтобы ее привлекательная внешность и молодость оказали на решение высокого суда смягчающее действие.

Что касается Кальтенбруннера, то он воздержался от вызова в суд в качестве свидетельницы какой-либо из двух своих арийских избранниц, например графини Вестарп, которая была матерью его близнецов. Но многие видели ее фотоснимки того времени и знали, что графиня вполне отвечала требованиям арийского стандарта.

Возможно, подобные факты из жизни подсудимых сами по себе неинтересны. Я пишу об этом только потому, что тогда они произвели на меня большое впечатление. Я была не в состоянии понять, как жены всех сидевших на скамье подсудимых могли не только ежедневно встречаться с этими людьми в домашней обстановке, сидеть с ними за одним столом и делиться с мужьями своими радостями и горестями, но и шептать им нежные слова, принимать их ласки, наконец, любить их и рожать им детей.

Я не сомневалась и по сей день не сомневаюсь в том, что жены должны были знать и знали о преступных деяниях своих мужей. Конечно, не всегда и не всё. Многое держалось в секрете. Но они не могли не быть в курсе того, что происходит в стране, не знать, где и кем работают их мужья, ничего не слышать об арестах людей.

Не могли они и ничего не знать и не слышать о преследовании евреев и о существовании концентрационных лаге-

рей. Ведь всё это осуществлялось при непосредственном участии их высокопоставленных супругов и нередко в непосредственной близости от их благоустроенного семейного очага. Жены не только должны были слышать о страшных злодеяниях, но иногда при желании могли даже заглядывать в адскую кухню, в которой, потеряв совесть, действовали отцы их семейств и их возлюбленные. Неужели эти женщины предпочитали не замечать происходившего, сознательно отворачиваясь ото всего, что могло нарушить их безмятежно счастливое существование в кругу семьи? А в центре семейного круга был муж, человек властной, влиятельной элиты, в лучшем случае потерявший совесть и рвущийся к материальному благополучию любой ценой, в худшем же — кровавый палач, лишенный человечности и морали.

Я задавала себе эти вопросы в Нюрнберге, видя жен подсудимых «живьем» или на многочисленных фотографиях, которые на протяжении всего процесса печатались на страницах немецких и зарубежных журналов. Я была далека от того, чтобы распространять свое недоумение и тем более осуждение на всех немецких представительниц слабого пола, связавших свою судьбу с нюрнбергскими подсудимыми. Ведь в таком случае мне пришлось бы распространить это осуждение и на моих соотечественниц, живших, как и я, в сталинскую эпоху. Конечно, нет! Всякая уравниловка несправедлива. Отношение к происходящему не могло быть трафаретным, даже если речь идет об участниках трагедии, которая кое-кому представляется огромным несчастьем, а кое-кому — фарсом или веселой прогулкой по жизненной тропе.

Я знаю свое место. Мои рассуждения могут оказаться наивными. Быть может, они и впрямь наивны, но тогда эти мысли волновали меня, и сейчас я не считаю нужным их скрывать, если уж решилась вспоминать прошлое.

Вернувшись в Москву и работая в Библиотеке имени Ленина, я не упускала возможности читать поступавшие в ее фонд книги о процессе. В то время таких книг в мире издавали много и я очень ими интересовалась, особенно мемуарами. Среди мемуаров мое внимание привлекли записки Генриетты фон Ширах, жены руководителя гитлеровской молодежной организации «Гитлерюгенд», имперского

наместника Вены, подсудимого Бальдура фон Шираха. Книга вышла в 1956 году в Западной Германии под названием «Расплата за великолепие»*. Именно в ней я нашла, хоть и неполные, ответы на мои вопросы.

Среди подробных описаний митингов и манифестаций народных масс, обожествляющих и приветствующих Адольфа Гитлера, среди воспоминаний о днях рождения и ночных застольях в резиденции фюрера на вершине Оберзальцберга госпожа Ширах делится своими мыслями и чувствами по поводу происходивших на ее родине событий, дает характеристики окружающим ее людям: Герингу и его второй жене Эмми, Гиммлеру, Кейтелю, Кальтенбруннеру и, конечно же, Еве Браун и Адольфу Гитлеру. Последнему уделено наибольшее внимание, он вместе с Бальдуром фон Ширахом в центре повествования.

Несмотря на довольно хаотичное изложение переживаний и чувств, из текста можно понять, что Генриетта фон Ширах жила беззаботно и весело, сопровождая мужа в его поездках по стране вслед за Гитлером и помогая Бальдуру в работе по оболваниванию немецкой молодежи. Сомнения и страх возникали только у некоторых из героев повествования и только по мере того, как военные победы начинали сменяться поражениями. Эти сомнения заглушались пышными приемами и банкетами.

«Мы были плохо информированы, мы ничего не хотели слышать, вели себя безрассудно и считали то, что мы делаем, совершенно правильным, — пишет Генриетта в своих мемуарах. — Празднеств и подарков было чересчур много, начиная с перчаток, на одной из которых было вывязано «Heil», а на другой — «Hitler», и кончая картинами старых мастеров и драгоценностями, о происхождении которых жены не задумывались».

В 1943 году чета Герингов посетила семейство Ширахов в Вене, где Бальдур в то время был имперским наместником (Stadthalter). Герман и его супруга Эмми были в прекрасном настроении и веселились от души. Геринг играл на пианино и демонстрировал дамам купленную в Вене красивую папку

---

* Schirach H., von. Der Preis der Herrlichkeit. Wiesbaden, 1956.

из светло-голубой кожи. Гости ничего не хотели слышать о войне, и, когда беседа по инициативе хозяина дома всё же зашла о положении на фронтах, Эмми прижала свою белоснежную руку к губам Геринга и пролепетала: «Не будем больше говорить об этом. Всё будет хорошо». Веселье продолжалось. Продолжались в самый разгар неудач на фронте и ночные приемы в резиденции Гитлера. Быть приглашенным на них считалось большой честью.

Читая в 1957 году об этих ночных бдениях, я невольно подумала о том, как похожи были друг на друга два крупнейших диктатора XX века не только в делах, но и в привычках.

Чета Ширахов получала приглашения Гитлера регулярно. Поэтому Генриетте не составило труда подробно описать торжественный ритуал этих приемов. Но не будем останавливаться на этом, хотя факты, сообщаемые автором мемуаров, добавляют много весьма интересного к портрету Гитлера.

Генриетта пишет, что именно на одном из таких приемов фюрер, любивший мечтать по ночам о том, как после победоносной войны перестроит мир, поведал своим сообщникам, что сотрет Москву с лица земли и устроит на её месте огромное водохранилище. Такого рода проектов у фюрера было много, и нам хорошо известно, что он не просто высказывал бредовые идеи, но и претворял некоторые из них в жизнь.

Но вернемся к мемуарам Генриетты фон Ширах, к тем их страницам, где она в какой-то мере отвечает на вопрос о том, как жены нацистских преступников реагировали на зверства гитлеровского режима.

Что касается бывшей актрисы Эмми Зоннеман, подруги жизни Германа Геринга, то с ней всё ясно. Она жила в свое удовольствие, не задумываясь о происходящем и не заглядывая в пропасть. Эмми не хотела видеть и не видела людских страданий, к которым был причастен ее муж. В последний день перед казнью тех подсудимых, которые были приговорены к смерти, Эмми всё еще не верила, что ее Германа могут повесить. Она была уверена, что его увезут на какой-нибудь остров и интернируют, как Наполеона. О том, что происходило в концентрационных лагерях, и об уничтожении сотен тысяч людей она не имела никакого представления. Когда же после разгрома нацизма ей стали известны

ужасы и страдания прошлого, она сочла сведения о них преувеличенными.

В отличие от своей подруги, госпожа Ширах получала время от времени кое-какую информацию и иногда даже пыталась что-то предпринимать. В своих воспоминаниях она описывает три весьма неравнозначных эпизода, характеризующих в какой-то мере ее отношение к действительности.

Так, однажды по просьбе известного дирижера Вильгельма Фуртвенглера она обратилась к Гитлеру с просьбой разрешить исполнение произведений Чайковского, Равеля, Дебюсси и других запрещенных в нацистской Германии композиторов. Для того чтобы добиться успеха в своем начинании, Генриетта решила дать Гитлеру и его гостям прослушать пластинку с записью «Итальянского каприччио» Чайковского. Гитлер уставился на патефон, как на своего заклятого врага, и приказал прекратить музыку. «Я потерпела фиаско, — пишет Генриетта. — Борман смеялся надо мной».

Второй случай произошел в Амстердаме, куда Генриетта приехала погостить у друзей. Ночью ее разбудили плач и крики на улице. Она подошла к окну, увидела людей с узлами и чемоданами и услышала команду: «Арийцы, останьтесь!». Колонна тронулась и исчезла в темноте. Утром друзья сказали Генриетте, что это была депортация евреек, и выразили свое возмущение по этому поводу. Потом какой-то эсэсовец предложил ей купить краденые драгоценные камни. Генриетта пишет, что об этом случае она за чашкой чая рассказала Зейс-Инкварту, но тот вежливо промолчал, предпочитая не сообщать о депортации никаких подробностей.

Госпожа Ширах — надо отдать ей должное — была в ужасе от увиденного в Амстердаме и, возвратясь домой поклялась себе, несмотря на все запреты, рассказать обо всем Гитлеру. И она это сделала на очередном приеме в страстную пятницу 1943 года. «Фюрер был потрясен, — пишет Генриетта, — сначала он молчал, и с ним вместе молчали 17 присутствующих при этом разговоре мужчин. Потом он повернулся ко мне лицом и я увидела, какой он немощный. Несмотря на богатую витаминами пищу, его кожа была дряблой, а глаза — какими-то мертвенными. Казалось, в них не было зрачков, и мертвая синева впилась в мое лицо. Мне было жалко его,

и в то же время я его ненавидела. Он медленно встал и начал на меня кричать: «Вы сентиментальны! Какое вам дело до этих евреек! Всё это сентиментальные гуманистические бредни!». (Гитлер часто кричал. Крик был его оружием.) Мы с Бальдуром уехали».

«Гитлер был центром нашей жизни, — продолжает она, — он руководил нашей работой. Наше будущее зависело от его воли. И вдруг я поняла, что мы сами избрали этот путь и совершали несправедливость. Мы любили не то, что нужно любить, и ненавидели не то, что нужно ненавидеть. Мы служили черному делу и не могли вернуться назад, не увлекая за собой в пропасть всех наших друзей».

И еще один из трех рассказанных Генриеттой эпизодов. «Уже после войны, в 1955 году, — пишет Генриетта, — я поехала в Вену. На дорожном указателе я прочла «Tulln», и мне стало стыдно. Однажды я получила телеграмму от моего друга, некоего Росса, в которой он сообщил мне, что в Туллне стоит эшелон с евреями и что я могла бы туда поехать и помочь. Я попыталась достать машину, которой не оказалось, и этим ограничилась. Я была слишком беспечной и успокоила свою совесть, повторяя то, в чем меня убеждали другие: в Туллне нет никакого эшелона...». Это признание Генриетты фон Ширах не требует комментариев.

Меня, честно говоря, поразила заключительная глава книги воспоминаний Генриетты фон Ширах. Эта глава, как мне кажется, тоже дает ответ на мой вопрос о женах. Ее содержание таково. После войны в поисках денег госпожа Ширах, очевидно, с друзьями и детьми, едет в лагерь перемещенных лиц, у ворот которого справа и слева висят голубые флаги со звездами Давида. Поездка совершается, чтобы продать золотое украшение с бриллиантом. Навстречу приехавшим выходит старый еврей и уносит ценную вещь, но не для того, чтобы присвоить ее, а с тем, чтобы определить ее стоимость. «На полученные деньги, — пишет жена одного из главных нацистских преступников, — мы уехали в Монте-Карло».

Так заканчиваются мемуары супруги нацистского воспитателя молодежи. Остается только добавить, что любящая жена покинула, насколько мне известно, узника Шпандау, расторгнув с ним брак.

Мой разум, как говорят немцы, «останавливается». Что это: беспечность или стремление не замечать происходившего в прошлом и любой ценой, шагая по трупам, обеспечить себе сладкую жизнь во все времена? Такому понятию, как покаяние, в книге Генриетты фон Ширах места не нашлось.

Жены сообщников нюрнбергских подсудимых вели себя ничуть не лучше. Я уже не говорю о таких патологических случаях, как редкое «увлечение» Ильзы Кох, жены коменданта лагеря Бухенвальд. В один памятный день обвинение предъявило Трибуналу среди вещественных доказательств куски обработанной человеческой кожи со следами красивых татуировок. Из этой кожи супруга коменданта заказывала абажуры для своих апартаментов.

Более характерным было поведение жены другого известного нацистского палача, коменданта Освенцима Гёсса, выступившего на процессе в качестве свидетеля. Сам Гёсс сообщил суду, что в конце 1942 года он нарушил клятву о сохранении государственной тайны и сообщил своей супруге о приказе фюрера окончательно решить еврейский вопрос и о роли Освенцима в массовом уничтожении евреев. Надо сказать, что польские власти перед приведением в исполнение смертного приговора этому палачу предоставили ему возможность написать воспоминания о своей деятельности. В повествовании под заглавием «Комендант Освенцима» Гёсс поведал миру, что раскрытие страшной тайны не нарушило благополучия семьи. Супруга продолжала заниматься воспитанием детей и выращивать цветы в садике перед домом, который, кстати, находился совсем рядом с местом работы мужа. Жене ни в чем не было отказа: семью коменданта обслуживали заключенные — практика, хорошо известная и в нацистских, и в советских лагерях.

На этом мои рассуждения о женах нацистских преступников заканчиваются, хотя о каждой из них можно рассказать еще многое. Но для выяснения их отношения к нацистской действительности и к преступным мужьям этих примеров, как мне кажется, достаточно.

Да и Бог с ними со всеми. Большинство из них благополучно дожили или еще доживают свой век. Их не направили на долгие сроки в созданные мужьями лагеря, если, конечно,

не считать короткого пребывания нацистских жен в этих скотских загонах сразу же после войны, перед тем как они прибыли в Нюрнберг, где вновь свиделись со своими преступными избранниками. Это мероприятие было осуществлено американцами в воспитательных целях, чтобы дамы навсегда запомнили, что натворили их мужья. Но жены решили иначе, они решили не омрачать остаток своей жизни и не думать о лагерях смерти, газовых камерах и других ужасах, считая всё это в лучшем случае преувеличением, а в худшем — просто измышлениями идейных противников нацизма.

Забыть прошлое и предаться радостям новой жизни им было не так уж трудно, ибо их материальное положение осталось на весьма высоком уровне. Международный суд был справедлив (может быть, по нашему разумению, чересчур формально справедлив). Он не нарушил прав человека и прав семей главных нацистских преступников, сохранив за женами и детьми осужденных принадлежавшую им личную собственность. Достаточно сказать, что дочь второго человека рейха Эдда Геринг, которой в дни Нюрнберга было 7 или 8 лет, в свое время стала самой богатой невестой в Европе, о чем в 60-е годы сообщали западногерманские газеты.

Никакой конфискации имущества не было. Советским же гражданам знакомо совсем иное право. Когда в 1937—38 годах брали «врагов народа», заодно забирали их жен и родственников, а имущество конфисковали всё до нитки!

Мне давно пора вернуться на свое место в зале суда, но я при всем желании не имею права этого сделать, пока не расскажу об одной русской женщине, с которой судьба свела меня в ранней юности.

НАША СОСЕДКА

Память не дает мне покоя, всё время возвращая меня к этому человеку. Если я не расскажу о ней здесь, то скорее всего уже нигде и никогда не сделаю этого. И это будет не отступлением от нюрнбергской темы, а ее развитием, необходимым, как мне кажется, дополнением к рассказу о супругах преступной элиты тоталитарного государства. Они не

были все одинаковыми, и это можно и должно подтвердить примером. Надеюсь, что мое повествование и будет таковым.

Речь идет о женщине, которая как мне кажется, по положению и деятельности ее мужа в СССР можно было бы без натяжки поставить в один ряд с женами нюрнбергских преступников. Домашние звали ее Капочкой, а мы, ее соседи по даче на Николиной горе, при встрече называли Капитолиной Исидоровной. И была она женой уже упомянутого мною Андрея Януарьевича Вышинского.

Думаю, что возражений против ее формального приравнивания к женам подсудимых Нюрнбергского процесса, по крайней мере со стороны моих соотечественников, не последует. Из памяти советских людей моего поколения никогда не изгладятся преступления, совершенные Вышинским в период массовых репрессий и в бытность его Генеральным прокурором СССР. Он не только принимал активное участие в преследованиях жертв сталинского режима, но и, будучи образованным юристом, всячески способствовал творимому в нашей стране беззаконию своими «теоретическими» изысканиями в области юриспруденции. Поверьте, это не преувеличение с моей стороны! Я наблюдала за этим человеком в домашней обстановке, знакомилась позже с его статьями, с его обвинительной речью и стенограммой допросов подсудимых на процессе так называемого «право-троцкистского антисоветского блока», который состоялся в Москве в 1938 году. Всё это дает мне право утверждать, что Вышинский сочетал в себе безграничную жестокость Генриха Гиммлера с проницательным умом и редкой образованностью Ялмара Шахта.

Эта не часто встречающаяся в жизни гремучая смесь была причиной многих бед для советских людей, но она же и помогла одному из главных советских преступников как-то изловчиться и благополучно умереть в Нью-Йорке в 1954 году на посту представителя СССР в Организации Объединенных Наций. Более того, он был с почестями похоронен на Красной площади в Москве. Что было, то было — потом прошел слух, что советский агент по заданию Кремля каким-то образом способствовал внезапной смерти Андрея Януарьевича на чужбине, чтобы тот ненароком не разгласил то, что знал

о советских правителях. А знал он слишком многое. Существует также версия, что Вышинский застрелился.

Этот человек был тесно связан с Нюрнбергским процессом, незримо присутствуя на нем с начала до конца. Напомню, что Сталин назначил Вышинского руководителем Правительственной комиссии по Нюрнбергскому процессу и тот вместо того, чтобы сидеть на скамье подсудимых, сидел в Москве и бдительно следил за работой Советской делегации в Международном военном трибунале. Как мне говорили, в самом начале процесса он побывал на заседании суда и, несомненно, дал руководящие указания советским судьям и обвинителям. Какие именно? Нам, рядовым участникам процесса, сие было неизвестно.

Зато достоянием гласности, преимущественно зарубежной, стал тост, произнесенный советским инквизитором 26 ноября 1945 года на приеме, устроенном в его честь главным американским обвинителем Джексоном. На этот прием были приглашены судьи, обвинители и вообще вся руководящая элита Нюрнбергского процесса. Вышинский, как ему и было положено, произнес бесхитростный тост: «Давайте выпьем за подсудимых. Пусть их путь приведет их из зала суда прямо в могилу!»

Прежде чем переводчик успел перевести это зловещее пожелание на английский язык, многие иностранцы, в том числе и судьи, уже успели осушить свои бокалы. Услышав перевод тоста, некоторые из них как бы поперхнулись, считая недопустимым такое явное предвосхищение приговора Трибунала всего лишь через шесть дней после начала его заседаний.

Я в то время еще работала в Берлине, и мне не суждено было встретиться с Вышинским, чему можно только радоваться. Думаю, что если бы встреча Вышинского со своей бывшей соседкой по даче состоялась, то в Нюрнберге скорее всего не было бы синхронного переводчика Татьяны Ступниковой.

Впрочем, довольно об этом коварном и преданном опричнике Сталина. Я напомнила о нем лишь затем, чтобы в полной мере были понятны страдания и страхи законной жены преступника такого типа и ранга, независимо от того, русский ли он, немец или представитель другой нации.

И я повторяю еще раз, что не все жены власть имущих супругов в нацистской Германии, в Советском Союзе и в других тоталитарных государствах не хотели думать и не думали о совершенных их мужьями преступлениях, не хотели видеть и не видели результатов их деятельности. Капитолина Исидоровна Вышинская своим отношением к преступным деяниям мужа и его жертвам подтверждает, что это не всегда было так или во всяком случае могло быть иначе!

Дочь православного священника, рано потерявшая отца, Капа вышла замуж по любви за студента юридического факультета, живого и остроумного молодого человека. У них родилась дочь Зинаида. Казалось, ничто не предвещало беды, пока Капочкин избранник не увлекся грязным делом, именуемым политикой. Подробности о жизни семьи в начальный период мне неизвестны. Наше знакомство состоялось в тридцатые годы на даче в связи с пропажей любимой кошки, которую искали все без исключения члены семьи Вышинских, искали не только на своем, но и на нашем участке.

Такие поиски неоднократно повторялись каждое лето, так как кошка, ничем не отличаясь от своих сородичей, очень любила гулять сама по себе. Состав «поисковой группы» с годами менялся. Глава семьи перестал обыскивать наш малинник и огород, так как делать это ему становилось всё трудней из-за постепенной прибавки живого веса и ввиду постоянного сопровождения его особы отрядом мощных мужчин в штатском, в одинаковых носках зеленого цвета и светло-коричневых полуботинках. Эти люди, надо отдать им должное, как правило, не покидали охраняемый объект, следуя за ним даже туда, куда сам царь пешком ходит. Но на наш участок они почему-то пройти не отваживались и внимательно наблюдали за передвижениями Андрея Януарьевича через забор, благо тогда время высоких каменных оград на загородных участках еще не наступило, как, впрочем, и время кирпичных коттеджей с решетками на окнах. Дачи и заборы были деревянными, и наши участки отделял друг от друга деревянный штакетник, сквозь который прекрасно был виден Генеральный прокурор СССР, двигающийся между картофельным полем и овощными грядками.

В семье Вышинских была еще одна несчастная женщина. Я имею в виду мать Капитолины Исидоровны. Имени и отчества этой весьма энергичной Зининой бабушки, жены священника (не хочется называть ее попадьей), я, к моему великому сожалению, не помню, потому что по малолетству своему называла ее всегда просто бабушкой. Она, всю жизнь прожив или, вернее, промучившись около дочери и внучки, хорошо знала своего коварного зятя, который икон в красный угол вешать не разрешал, так что их, помолившись, приходилось прятать. Но надо отдать должное старушке: она не побоялась вступить с ним в неравный бой безо всякой надежды на победу. В начале страшного 1937 года, когда маховик массовых репрессий был запущен на полный ход, и в последующие годы до самой своей смерти (она, кажется, последовала во время войны) теща называла зятя не иначе как кровопийцей и палачом. Ее дочь боялась мужа и не могла оставить его, страшась мести и гнева, будучи уверена в том, что он способен погубить не только жену, но и собственную дочь. Весь архипелаг ГУЛАГ был в его распоряжении.

Как сейчас вижу Капитолину Исидоровну — худую и, несмотря на пожилой возраст, не потерявшую стройности фигуры женщину с некрасивым болезненным лицом и потухшими грустными глазами. Она была глубоко верующим человеком и не могла оставаться равнодушной к страданиям людей. В тайне от мужа помогала она узникам ГУЛАГа, живя в атмосфере постоянного страха и к тому же всеобщей неприязни окружающих. По поговорке «Муж и жена — одна сатана» люди считали ее если не соучастницей преступлений мужа, то, по крайней мере, сволочью, продавшей свою совесть и честь за сытую и веселую жизнь. В полной трагизма и справедливого гнева «Хронике времен культа личности» Евгения Гинзбург пишет, что перед своим арестом познакомилась на курорте с женой и дочерью Вышинского, и называет Капу «хилой» и «костлявой», что звучит весьма недоброжелательно. А между тем, эта мужественная, глубоко несчастная женщина совершала во имя милосердия порой весьма продуманные, целенаправленные, нередко рискованные действия.

Мысли и дела свои ей необходимо было тщательно скрывать от мужа и знакомых, чтобы никто, не дай Бог,

не догадался, что законная супруга одного из главных инквизиторов страны сочувствует «врагам народа и Советского государства». Помимо всего прочего, несчастная женщина проявляла истинно христианские терпение и раскаяние. Так, одно время ежедневно, точнее ежеутренне, хозяйка неукоснительно убирала до появления на лестнице кого-либо из домочадцев человеческий кал, которым вымазывала дверь квартиры палача старуха-мать одного из осужденных.

Жизнь всему научит, а охота пуще неволи, и Капитолина Исидоровна освоила элементы конспирации. Когда не только мои родители, но и большинство ближайших родственников и друзей семьи оказались за колючей проволокой, я регулярно приходила на московскую квартиру Вышинских как некая «Лена Петрова» (так я представлялась энкаведистке-привратнице) и получала от Капитолины Исидоровны деньги, но только не на поддержку нашего с младшей сестрой существования. Деньги кровопийцы для личных нужд я гордо отвергала, однако брала их для решения трудных задач по пересылке хлеба насущного, лекарств и одежды обитателям лагерей, а конкретно лагеря в Мордовской АССР с загадочным адресом «почтовое отделение Явас». В этом лагере отбывала срок моя тетя за то, что была женой «врага народа».

Тогда я была еще школьницей с рыжими косичками и меня трудно было заподозрить в каких-либо незаконных действиях, что весьма облегчало выполнение поставленных предо мною не столько сложных, сколько опасных заданий, которые требовали определенного нервного напряжения. Что касается моего собственного душевного состояния, то я была готова на всё, лишь бы помочь моим любимым близким людям, друзьям нашей семьи, оказавшимся в сталинских концентрационных лагерях, которые именовались тогда почему-то «исправительно-трудовыми», хотя среди них были разные лагеря, в том числе и лагеря строгого режима, которые было бы правильно назвать лагерями смерти.

Никакие современные детективы не могут сравниться с тем, что приходилось мне не без помощи Капитолины Исидоровны проделывать и переживать, прежде чем удавалось доставить политическим заключенным лекарства, витамины, продукты и письма. Много раз я пряталась в огромном платя-

ном шкафу, когда Андрей Януарьевич со своими телохранителями внезапно не по расписанию приезжал домой. После длительных неподвижных сидений на коленках в кромешной тьме я навсегда возненавидела запах французских духов, который источали одежды хозяйки дома и ее дочери.

Каждая поездка в лагерь требовала большой подготовительной работы. Иногда судьба была ко мне благосклонной. Помню, особенно мне повезло, когда начальнику — коменданту лагеря в Потьме срочно потребовалось доставить для его больной дочери новейший лекарственный препарат против скарлатины. Благо она заболела этой тяжелой болезнью и я, несовершеннолетняя, молила Бога, чтобы Он продлил недуг и мы успели завершить операцию. Мои молитвы были услышаны, и мы успели выполнить наш план.

Я получила в НКВД разрешение на свидание с тетей (помог начальник лагеря), Капитолина Исидоровна дала деньги и, самое главное, достала лекарство.

Связь через лагерного пахана и его дружков в Москве, минуя почтовую цензуру, сработала четко, и поезд на станции Потьма не тронулся до тех пор, пока весь багаж рыжей девочки: 12 неподъемных чемоданов, два узла и один ящик — не были выгружены из вагона встречавшими ее уголовниками. Мероприятие было завершено, благодаря невероятному стечению обстоятельств, в которых сыграли свою роль не только Капитолина Исидоровна и «Лена Петрова», но и начальник лагеря, его дочь и скарлатина. Лагерным уголовникам за содействие успешному проведению тщательно подготовленной операции причитался ящик водки, который и был им вручен прямо на станции.

Моим рассказом о Капитолине Исидоровне Вышинской я не хочу ввести читателя в заблуждение. Нет, и у нас, в социалистической стране, жены власть предержащих чиновников в массе своей мало чем отличались от жен нацистских чиновников. Для примера назову Александру Романовну Гридасову — жену и соратницу начальника колымских лагерей Никишова. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что эта дама переплюнула всех других жен начальников и комендантов немецких и советских лагерей. Она была начальницей женского лагеря в Магадане и вершила судьбы колымских узниц.

В ее оправдание можно сказать единственно то, что она не делала абажуров из человеческой кожи. К такому выводу пришел английский ученый и писатель Роберт Конквест, ознакомившись с деятельностью супруги Никишова. Но об этом речь впереди.

СУМАСШЕДШИЙ ГЕСС

Может быть, кому-то надоели эти мои экскурсы в прошлое, но я обещала писать только правду и потому не могу умолчать о мыслях и чувствах, охватывавших меня и в Нюрнберге, и в Москве. Моя богатая событиями, хотя тогда еще короткая жизнь вынуждала меня задумываться над тем, что я видела и слышала в зале нюрнбергского Дворца юстиции, и одновременно заставляла вспоминать пережитое на Родине. Днем, в напряженной работе, требовавшей предельной концентрации всех сил, впечатления только накапливались, чтобы ночью вновь наваливаться тяжелым камнем, воскрешать в памяти картины прошлого и невольно вызывать параллели и сравнения. Иногда такие сравнения были в пользу большевиков, иногда — в пользу нацистов, но всегда оставался один вопрос: как *такое* могли сотворить *люди*, независимо от их национальности и принадлежности к тому или иному народу? Среди палачей найдутся представители всех наций и народов, а уж среди жертв — и подавно! Ясно одно: эти ужасы всегда порождаются определенной идеологией и совершаются под руководством определенной организации — партии, которой руководят тот или иной «великий вождь» и его приспешники.

Вот они, эти приспешники. День за днем, месяц за месяцем я сижу с ними рядом, всматриваясь в их чисто выбритые лица. За исключением Кальтенбруннера и Штрейхера, вызывающих у меня чувство отвращения, остальные подсудимые внешне неприметны. Вот разве еще Рудольф Гесс, заместитель Гитлера по партии, обращает на себя внимание некоторой странностью поведения и отсутствующим взглядом глубоко запавших глаз под густыми черными бровями.

Не случайно по ходатайству защиты Гесс был подвергнут медицинскому освидетельствованию специальной ко-

миссией, состоявшей из виднейших психиатров мира. Комиссия представила суду подробные медицинские отчеты и свое заключение. Гесс сообщил суду, что симулировал потерю памяти из «тактических соображений». После тщательного рассмотрения документов с учетом заявления защитника и, наконец, объяснения, данного самим Гессом, суд пришел к выводу, что обвиняемый дееспособен и процесс может продолжаться.

Для меня, да и для любого советского гражданина всё это казалось невероятным. В советской судебной практике сама постановка вопроса о душевной болезни подсудимого и его направлении на медицинское обследование всегда сопровождалась произволом в той или иной форме. Сколько тяжело больных перемололи тюремные и лагерные жернова в годы сталинского террора! И в то же время сколько здоровых инакомыслящих было направлено в психиатрические больницы!

Моя мама рассказывала мне, что в колымском лагере в 30-е годы отбывали большие сроки многие психические больные. Среди них в одном бараке с мамой находилась одна из фрейлин царского двора. Рассудок ее помутился еще в московской тюрьме, где она никак не могла понять, в каком заговоре против советской власти и лично против товарища Сталина ее обвиняют. Однако это не помешало вершителям правосудия посадить ее на 10 лет в колымский лагерь. Здесь уголовники величали бывшую фрейлину графиней за то, что она, поднимаясь по деревянным ступенькам в барак-столовую за порцией жидкой баланды, как шлейф, поддерживала рукой край своей дерюжной юбки. А при виде охранника она с достоинством заявляла ему, что такой отвратительной жидкостью, которую здесь называют супом, она не кормила даже собак.

НРАВЫ ВОЖДЕЙ И ИХ ПРИСПЕШНИКОВ

Итак, о других подсудимых. Внешнюю привлекательность в них отыскать было трудно. Но, как говорят, на вкус и цвет товарищей нет. К тому же мне, тогда молодой девушке, все подсудимые казались стариками, как и любые люди старше

сорока. Ведь главные нацистские преступники, за исключением, пожалуй, одного Шираха, к моменту взятия под стражу успели перейти этот возрастной рубеж.

Мне с юности внушали, что внешность человека — лишь оболочка, не свидетельствующая о его уме и душевных качествах. Внушали мне и что мужчина должен быть умным и добрым, а внешняя красота ему не нужна и даже привлекательность не обязательна. Я навсегда усвоила эту истину, непреложность которой как нельзя лучше подтверждалась в моей собственной семье. Здесь кроется причина моего повышенного интереса к умственным способностям и душевным качествам подсудимых. Мне казалось, что знание этих двух важнейших компонентов человеческой личности позволит в какой-то степени объяснить преступные решения и бесчеловечные действия приспешников Гитлера.

Сидя в переводческой кабине, я не переставала задавать себе один и тот же вопрос: как могли взрослые, образованные, на первый взгляд, неглупые и с виду нормальные мужчины принимать непосредственное и даже косвенное участие в обмане своего собственного народа, в попрании человеческого достоинства, в превращении людей в рабов и, наконец, в уничтожении сотен тысяч ни в чем не повинных людей? Неужели все это можно объяснить противоестественной безоглядной любовью к диктатору, не считающему нужным даже скрывать свои изуверские цели?

В те времена не было телевидения и народы лицезрели своих вождей только на портретах, на парадах и в кадрах кинохроники. При любом появлении на публике эти вожди были ловко загримированы мастерами нацистской и коммунистической пропаганды. Другое дело — ближайшее окружение вождей, в данном случае Гитлера. Подсудимые Нюрнбергского процесса были его сообщниками, «товарищами по партии». Они принимали от любимого фюрера награды и поощрения за преданность и рабское послушание. Они разрабатывали планы и проекты, в основу которых были положены бредовые идеи «величайшего полководца всех времен», «корифея в области науки и искусства» (как знакомы нам, советским людям, эти слова!). Гитлер держал своих «Parteigenossen» (партийных товарищей) при себе, заставляя

их по ночам слушать свои нескончаемые монологи, произносимые до и после просмотра фильмов, за едой и после еды.

В этом фюрер как бы следовал примеру советского вождя. Ночные «посиделки», напряженное улавливание мыслей «отца народов», просмотры целомудренных фильмов, вино, фрукты и закуски — всё это было и в Кремле, и Оберзальцберге.

Как известно, Адольф располагал огромной созданной по его распоряжению фильмотекой, в которой хранились фильмы многих времен и народов и которая после войны была перевезена в подмосковные Белые Столбы. Об этом я узнала, возвратясь из Нюрнберга и пустившись на поиски достаточно хорошо оплачиваемой работы, которую можно было бы сочетать с аспирантурой. Такая работа нежданно-негаданно нашлась, и — где бы вы думали? — в самом центре Москвы, в министерстве кинематографии, у самого министра Большакова. Министру срочно понадобились переводчики, в том числе и с немецким языком, для перевода трофейных фильмов. Мое зачисление на работу было столь же головокружительно быстрым, как и отправка в Нюрнберг. Условия оказались подходящими, не говоря уже об оплате. Работать надо было через день, точнее через ночь, чередуясь с другой переводческой бригадой. В каждой бригаде было три переводчика: английский, немецкий и французский.

Всё это показалось мне загадочным, но тут же было разъяснено начальницей первого (секретного) отдела министерства. Эта решительная, не терпящая возражений дама с толстым слоем жирного крема на веках и под выцветшими, ничего не выражающими глазами открыла мне, что работать я буду, страшно сказать, для самого Иосифа Виссарионовича.

Фильмы надо было не просто переводить, но сразу же и отбирать, руководствуясь следующими указаньями высочайшего начальства: никаких любовных сцен (тогда понятия эротики, не говоря уже о сексе, в нашем лексиконе еще не было), никакой политики и только черно-белые ленты. Дело в том, что Вождь опасался вредного воздействия цветного изображения или даже просто самих красок на здоровье. А как любой диктатор, драгоценный и любимый вождь народа, он хотел, нет — просто обязан был жить вечно!

Перевод, собственно говоря, мы делали не для подготовки дублирования фильма на русский язык на какой-либо киностудии, а лично для министра Большакова, чтобы тот, в свою очередь, во всеоружии мог переводить фильм Великому Вождю и его ночным гостям. Если же у Сталина возникали вопросы, высокопоставленный толмач звонил дежурной бригаде и мы, пользуясь находящимся в нашем распоряжении фондом справочников, давали необходимый ответ.

Как Большаков справлялся со своими переводческими обязанностями, сказать трудно. Но министр оставался на своем посту, а значит, вполне удовлетворял Вождя, хотя, по собственному признанию Большакова, трех указанных выше языков он не знал. Он записывал, заучивал, запоминал звучащие с экрана монологи и диалоги знаменитых и малоизвестных киноактеров. Трудно ему было, но справлялся.

Что же касается меня, то работа только на первых порах показалась мне счастливой находкой. Судите сами. Иногда приходилось смотреть по три фильма в ночь. Нередко ни один из них не отвечал требованиям хозяина. Заказывались другие фильмы, и всё начиналось сначала. Ну, а главное, очень хотелось спать.

Представьте себе: сидишь в полусне и смотришь последнюю часть фильма, в котором есть любовь, но только на расстоянии, в котором нет политики и пленка черно-белая. Появляется надежда, что изнурительный поиск увенчается успехом. Мои коллеги уже давно спят в мягких креслах. Они могут это себе позволить, потому что с самых первых кадров заказанные ими на сегодня фильмы на английском и на французском языках были отвергнуты. Хотя и черно-белые, но замешаны на политике, да еще и с еле-еле заметным антисоветским душком. Этого Вождь не терпел. Он считал, что по Европе должен бродить только один призрак — призрак коммунизма.

Итак, все надежды сосредоточились на моем немецком фильме. Именно он должен был удовлетворять всем требованиям Вождя. С этой радужной и расслабляющей мыслью я постепенно погружаюсь в сон. Но какая-то внутренняя сила пробуждает меня. Открываю глаза, и что я вижу: на экране? Блистает всеми красками зимнее утро, голубеет небо, тем-

неют горы, и на этом фоне танцует женщина в одеяниях всех цветов радуги. Сна как не бывало. Нажимаю кнопку вызова киномеханика. Уж не запустил ли он часть из другого фильма, с упреком спрашиваю я его. Мне невдомек, что в министерстве кинематографии механик не имеет права на такую ошибку. Киномеханик безропотно прокручивает мне последнюю часть картины, и я убеждаюсь, что полтора часа работы — псу под хвост. Вот они — достижения новейшей в свое время кинематографической эстетики — фильм в фильме! В черно-белую ленту вставлен кадр из цветного фильма с Марикой Рёк в главной роли. Два шпиона — герои черно-белого детектива — встречаются в кинозале на демонстрации этой цветной кинокартины

А если бы я не проснулась? Но я, как и механик, права на такую ошибку не имела. И всё начинается сначала...

Другой случай в процессе моей напряженной работы по обслуживанию Вождя выглядит скорее комичным. Иосифу Виссарионовичу почему-то захотелось посмотреть новый китайский художественный фильм. Фильм моментально был прислан в Москву вместе с китайским переводчиком. Получилось так, что порядок нашей обычной работы не был изменен. Министр был где-то в отлучке, а китайский переводчик должен был срочно ехать на свою основную работу и потому не мог сидеть и дожидаться министра. Посредниками между переводчиком и министром в этой замечательной модели «испорченного телефона» оказались опять мы, а конкретно я.

Мне не оставалось ничего другого, как, уставившись на экран, слушать перевод китайского коллеги и пытаться установить, кто из актеров главный герой фильма, а кто его единомышленники или враги. Несколько раз я спрашивала у переводчика, кто есть кто, но это мне не помогало. Я оказалась не в состоянии отличить действующих лиц друг от друга. Мелькающие на экране актеры мало того, что, как в сказке Андерсена, все, как один, были китайцами и назывались китайскими именами, но к тому же были одинаково одеты.

Уже через несколько часов настала моя очередь по памяти переводить, а вернее излагать содержание китайского фильма примчавшемуся в министерство Большакову. И тут мне

пришлось по ходу дела придумывать какую-то новую историю, чтобы как-то свести концы с концами. Полагаю, что и бедняге министру ничего не оставалось, как на ночном показе у Сталина последовать моему примеру и предложить Вождю свой вариант.

Представьте себе, что всё прошло без сучка и задоринки, ну прямо как в официальных сообщениях о выполнении планов пятилеток. До нас дошли даже слухи, что фильм был удостоен высочайшего одобрения. Честь и хвала фантазии Большакова!

...А утром верные соратники отправлялись в руководимые ими министерства, партийные штабы и ведомства, чтобы из своих кабинетов командовать осуществлением преступных замыслов тиранов и послушно исполнять их волю. Не упрекаю этих верноподданных за то, что они в открытую не решались высказать несогласие с обожаемым кумиром и всесильным повелителем. Но разве не существует множества хитростей и обходных путей, чтобы отказаться от соучастия в наиболее гнусных преступлениях, не рискуя жизнью и благополучием близких? Ну, допустим, какой-то уж слишком решительный шаг требует мужества и непомерно больших жертв, но нельзя отрицать и наличия бескровных возможностей отказаться от милостей палача. Это признавали и сами подсудимые в Нюрнберге. Даже наиболее запятнанный из них человеческой кровью Эрнст Кальтенбруннер в своем последнем слове признал, что должен был бы уйти в отставку, симулируя болезнь, однако он этого не сделал. Не сделали и другие, оставаясь верными сообщниками Гитлера практически до самого конца. Не сделали? Или не захотели сделать? Они покинули корабль по-крысиному, лишь тогда, когда он пошел ко дну...

ЯЛМАР ШАХТ

Только Шахту удалось оставить корабль несколько раньше. Главный американский обвинитель Джексон спросил, почему доктор Шахт, будучи противником гитлеровской программы агрессии, не заявил Гитлеру сразу, что отказыва-

ется выполнять его приказы о финансировании программы вооружения.

Шахт в ответ на это сказал, что, если бы он так заявил, «мы не имели бы возможности вести здесь и теперь этот приятный диалог. Вместо диалога был бы монолог. Я бы тихо лежал в гробу, а пастор читал бы молитву!». Это была сущая правда, но всё же Шахт, первоначально поверивший фюреру и оказавший ему неоценимые финансовые услуги, предпринял рискованные шаги, чтобы обеспечить себе пути к отступлению.

Шаги эти были весьма робкими. Шахту, безусловно умному, но предельно расчетливому, осторожному и себялюбивому человеку, было далеко до отчаянного Штауфенберга. Шахт лишь установил связь с участниками заговора против Гитлера, продолжая долгое время числиться министром без портфеля и получая от фюрера пятьдесят тысяч марок в год.

Ловкое балансирование между Гитлером и оппозицией в 1944 году в конце концов кончилось заключением гениального финансиста в нацистский концентрационный лагерь, о чем доктор Дикс, неутомимый защитник подсудимого Шахта, сообщил Трибуналу, представляя своего подзащитного как ярого противника фюрера и его агрессивных идей.

Допрос Шахта главным обвинителем от США Джексоном навсегда остался в моей памяти. Я воздержусь от передачи содержания этого допроса, так как боюсь, что в моем изложении этот мастерски оформленный в стилистическом отношении диалог умных, образованных и энергичных противников утратит свою красоту и силу. Скажу только, что два отлично подготовленных бойца сошлись тогда в словесном поединке, от исхода которого зависела дальнейшая судьба одного из них и мировое признание профессионального мастерства другого. Вот где можно было действительно убедиться в непреодолимой силе правильно выбранного и к месту сказанного слова.

Обвиняя «финансового чародея» в субсидировании гитлеровской программы вооружения, Джексон опирался на богатейший арсенал документально подтвержденных фактов. Шахт, возражая ему, использовал все свое умение для того, чтобы если не всегда полностью опровергнуть обвинение, то, по крайней мере, ослабить силу доказательств, приводимых

главным американским обвинителем. Защищаясь, имперский министр экономики, он же имперский министр без портфеля, он же в течение длительного времени президент Германского имперского банка и, наконец, он же узник нацистских лагерей после серии четких ответов «Совершенно верно!», «Так точно!», чувствуя, что Джексон неопровержимыми доказательствами загоняет его в тупик, внезапно переходил в атаку на политику западных держав в отношении гитлеровской Германии.

Шахт смело заявил суду, что против вооружения Третьей Империи в Европе и Америке ничего не предпринималось и что в результате такой политики союзники подарили Гитлеру Судетскую область, а потом и всю Чехословакию. Такие утверждения заставляли американского обвинителя отказываться от дальнейших вопросов, ответы на которые превращались в обвинения самих победителей, которые располагали необходимой информацией о гонке вооружений, о подготовке Германии к агрессивной войне и о нарушении ею прав человека.

Суд вынес главному финансисту нацистской Германии оправдательный приговор.

ОПРАВДАННЫЕ ПОДСУДИМЫЕ И НЕОСУЖДЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ

Как известно, Трибунал вынес оправдательные приговоры не только Шахту, но и еще двум подсудимым: Папену и Фриче. Эти двое почти начисто исчезли из моей памяти и воскресли в ней лишь много лет спустя, когда я познакомилась с их мемуарами в читальном зале Библиотеки имени Ленина.

Тогда, в Нюрнберге, член Трибунала от СССР И. Т. Никитченко заявил о своем несогласии с оправданием Шахта, Папена и Фриче и обосновал свое расхождение с другими членами суда в Особом мнении, которое было приобщено к приговору. Факты и доводы, изложенные в этом объемистом документе, убедительно подтверждали, что оправданные Трибуналом Франц фон Папен и Ганс Фриче так же, как

и Шахт, активно способствовали укреплению нацистского режима и выполнению агрессивных планов Гитлера.

Но, тем не менее и несмотря на всё это, мне казалось, что дела таких, как Фриче и Папен, должны были бы рассматриваться не Нюрнбергским трибуналом, а каким-то другим, если так можно выразиться, менее крупнокалиберным судом. В Нюрнберге же на скамью подсудимых следовало бы посадить таких преступников первой величины, как Геббельс и Гиммлер. Но к началу процесса ни того, ни другого уже не было в живых. Главный пропагандист «Третьей империи», ближайший сотрудник и наперсник Гитлера Йозеф Геббельс и первый палач нацистской Германии рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер успели раскусить ампулы с ядом и тем самым избежали виселицы.

Что касается меня, то я не могла избавиться тогда от мысли о том, скольких преступников надо было бы посадить на скамью подсудимых, если бы Международный трибунал продолжил свою работу в Москве. Речь, конечно, должна была бы идти только о главных большевистских преступниках, иначе очень легко переступить недозволенную грань и, нарушив библейские заповеди, утопить правосудие в крови массовых репрессий, которые всегда и везде приводят к гибели ни в чем не повинных людей. Честь и хвала Нюрнбергскому трибуналу, что он не пошел по этому пути!

По данным, обнародованным в 1996 году, всего лишь 50 (!) работников огромного сталинского аппарата насилия и террора были после смерти диктатора привлечены к уголовной ответственности. А ведь только главных советских преступников при всей строгости отбора хватило бы на три-четыре таких же длинных, как в Нюрнберге, скамьи. Но все они, как правило, благополучно завершили свою карьеру, кроме, пожалуй, одного Берии и нескольких его приспешников.

На Нюрнбергском процессе среди членов советской делегации не было такого, кто не знал бы о существовании некоего Лихачева, ближайшего помощника Берии, официально засланного в Нюрнберг не знаю, в качестве кого, но очень хорошо знаю, зачем. Когда мои более молодые друзья спрашивают меня о Лихачеве, я не могу назвать им ни его

имени-отчества, ни чина, ни официальной должности на процессе. Я отвечаю им лишь одно: этот страшный человек был расстрелян вместе с Берией в 1953 году.

КТО ОН, ПОДСУДИМЫЙ № 1?

Но вернемся в зал нюрнбергского Дворца юстиции. Еще нет Особого мнения, нет и самого приговора, подсудимые еще не произнесли свое последнее слово. Еще не выступили с заключительными речами их адвокаты. Еще допрашиваются свидетели и предоставляются всё новые и новые доказательства и документы.

Доктор Штамер, следуя принятым Трибуналом правилам американского судопроизводства, вызывает своего подзащитного Германа Вильгельма Геринга в качестве свидетеля по его собственному делу. Защитник вызывает «человека номер два», как его называли в третьей империи, который в Нюрнберге превратился в «подсудимого номер один».

Так своеобразно, на скамье подсудимых, осуществилась давняя мечта рейхсмаршала занять главенствующее положение. Он был явно горд тем, что Трибунал принял решение, чтобы по всем вопросам истории и программы нацистской партии показания давал только Геринг. На протяжении всего процесса этот властолюбец безуспешно пытался подчинить себе своих бывших коллег. Он давал им указания, например «Ничего плохого о Гитлере!» и «Ни в чем не сознаваться!» Более того, он требовал заранее доводить до его сведения, кто, что и как собирается сообщить суду. Когда же Герингу было позволено выступать в качестве свидетеля, он, отвечая на продуманные и заранее заготовленные вопросы своего адвоката, воспользовался трибуной для произнесения чрезвычайно длинных, но недоказательных речей.

Пересказывать пространные тирады Геринга и следовавшие затем вопросы обвинителей, мне кажется, нет необходимости. Тем более что всё это с предельной точностью зафиксировано в опубликованных стенограммах процесса (к сожалению, пока что они изданы лишь на английском и немецком языках, но ведь когда-то будут изданы и на рус-

ском). Всё это, кроме того, цитировалось за последние 50 лет в сотнях книг, брошюр и статей. Мне же, скромному переводчику-статисту, хочется в меру моих сил и возможностей ответить на вопросы, которые за эти годы в разном словесном оформлении задавали мне мои русские и немецкие друзья или знакомые, каким-то образом узнавшие о моей работе на процессе. И одним из самых жгучих был вопрос: каковы они, эти преуспевшие в злодеяниях и преступлениях монстры? Если уж гений и злодейство несовместны, то ведь в чем-то должно сказаться их умственное превосходство над обычными людьми, которое, видимо, привело их к власти и позволяло эту власть довольно долго удерживать.

Надо иметь в виду, что мы, советские граждане, старались не распространяться на подобного рода исторические и в данном случае по существу политические темы. Мы были в буквальном смысле окружены стукачами, которые, чтобы выслужиться перед начальством или просто навредить несимпатичному человеку, а то и по указанию свыше могли ловко исказить или «тонко» прокомментировать любые твои высказывания, накатать на тебя любую наглую и беспардонную клевету, чреватую серьезными неприятностями.

Поэтому, отвечая в те времена моим собеседникам, я всегда чувствовала нависшую надо мной опасность «разоблачения» кем-нибудь из слушателей то ли моего «антисоветского» подхода к проблемам Нюрнбергского процесса, то ли моей недопустимой «антимарксистской» оценки поведения главных военных преступников. Стандартный перечень всех вероятных и самых невероятных ошибок и промахов можно продолжить. Какое именно разоблачение последует, — это зависело и от того, кто писал донос: философ или, скажем, уборщица.

КОГО ЖЕ МЫ ПОБЕДИЛИ?

Иногда возникало практически безвыходное положение. Человек вынужден был высказываться, но не знал, как «попасть в струю», то есть чего именно желали бы от него услышать Партия и Великий Вождь Советского Государства. Даже

самые закаленные бойцы советского идеологического фронта нередко терпели фиаско. Как лучшее тому подтверждение мне запомнилась история, рассказанная в 60-е годы известным советским журналистом и писателем Борисом Полевым. Мы встретились с ним на берегу Женевского озера как участники одной из международных встреч, организованных Всемирным советом мира (он корреспондент, я синхронный переводчик). Полевой рассказал следующее.

Весной 1946 года Борис Полевой, тогда корреспондент «Правды» на Нюрнбергском процессе, вместе с группой советских журналистов и писателей, работавших, как и он, в Нюрнберге, вылетел на несколько дней в Москву для того, чтобы доложить нашему вождю о своих впечатлениях о процессе. Сталин принял приглашенных за накрытым столом, и началась «непринужденная беседа».

Особый интерес вождь проявлял к подсудимым. Поэтому каждый из журналистов давал им характеристику, стараясь продемонстрировать Отцу народов свою политическую зрелость и бдительность. Это старание выражалось в том, что выступавшие особо подчеркивали невежество и, более того, непроходимую глупость и тупоумие наших врагов. Сталин молча слушал, и его испещренное оспинами лицо, к ужасу рассказчиков, всё больше мрачнело. Так продолжалось до тех пор, пока стоявший за спиной Сталина его секретарь (кажется Поскребышев) не подал собеседникам Вождя знак замолчать.

Хозяин выдержал паузу и с хорошо знакомым всем грузинским акцентом обратился к собеседникам с риторическим вопросом: «Что же, вы считаете, что мы воевали с круглыми идиотами и победили дураков?» И, не дожидаясь ответа, сам ответил на свой вопрос: «Ошибаетесь! Наши враги были умными и знающими свое дело людьми. Вот их-то мы и победили!»

С этим немыслимо было спорить тогда и трудно не согласиться даже теперь. И всё же я наберусь смелости и попытаюсь возразить великому вождю, благо он мертв. Да и мне нынче нечего терять. За моей спиной не стоят страдальцы родственники. Вокруг меня не толпятся стукачи, которые, я всё же думаю, не перевелись на Руси, но скорее всего заняты другими объектами — зачем им пенсионерка?

Поэтому я без страха и сомнения пишу о том, что мне самой удалось увидеть, прочувствовать и передумать в Нюрнберге и на моей Родине в те теперь уже далекие годы. Прежде страх замыкал мои уста и останавливал перо. И я, может быть и с опозданием, но пишу, надеясь, что мои наблюдения и переживания представят некоторый интерес для современного читателя.

ГЕРИНГ НА ПЕРЕКРЕСТНОМ ДОПРОСЕ

Итак Геринг покинул закрепленное за ним в зале суда первое место в первом ряду главных нацистских преступников и сидит теперь один в центре зала за невысокой свидетельской трибуной с двумя американскими охранниками за спиной. Здесь Геринг в течение 10 (!!!) дней будет отвечать на вопросы своего адвоката, а затем американского, английского, советского и французского обвинителей. Он приложит все силы, чтобы откреститься от совершенных им злодеяний, от участия в актах агрессии, геноцида и террора. Одновременно Геринг попытается отстоять «историческое место» нацизма, показать миру свою верность его идеям и дискредитировать Нюрнбергский процесс. И это отличало «второго человека» третьей империи от других подсудимых, которые, как правило, таких попыток не предпринимали.

Но поставить задачи еще не значит их выполнить. Этого подсудимый № 1 сделать не смог. И не только потому, что злодеяния нацизма и лично Геринга были слишком тяжкими, а представленные обвинителями доказательства — вескими и неоспоримыми. Спору нет: эти два решающих фактора лишали Геринга возможности одержать в ходе допросов победу. Но ничто не мешало ему в словесном поединке, да еще при поддержке опытного адвоката, продемонстрировать не только волю и выдержку, но и свои интеллект и знания, о которых столь веско сказал наш советский вождь в беседе с журналистами.

Скрупулезное судебное разбирательство, предшествовавшее допросу, и, наконец, десятидневный допрос подсудимого, для подготовки к которому у него было вполне

достаточно времени, позволили бы, без сомнения, выявить умственные способности Геринга, его находчивость, собранность и умение держаться в критических ситуациях. В речах и ответах этого нацистского преступника его сущность высвечивалась крупным планом. Судите сами.

Сын чиновника в бывшей германской колонии в Юго-Западной Африке, с детства живой и деятельный Герман обучался в кадетском корпусе. О пополнении и совершенствовании полученных знаний в каких-либо других учебных заведениях ничего, насколько мне помнится, не говорилось на процессе и не говорится в доступных всем нам изданиях. Зато большое место в биографии Геринга занимает его «блестящая» карьера, триумфально развивавшаяся под покровительством Гитлера. Своему покровителю Геринг подчинялся беспрекословно и совершал по его указанию одно преступление за другим. Свое отношение к фюреру Геринг сам определил, называя себя «вернейшим паладином Гитлера».

Итак, о блестящей карьере. Само по себе перечисление высоких чинов и постов, которые в 1922-1945 годах после вступления в нацистскую партию занимал в Германии Герман Геринг как кого, а меня заставило усомниться в его умственных способностях. Это уже не просто тщеславие и властолюбие, а какая-то патологическая страсть к постам и чинам. Когда эта страсть не находит удовлетворения, она называется манией величия. А как она называется в том случае, если ее удается удовлетворить, никто не знает. Во всяком случае, эта страсть не свидетельствует о наличии большого ума.

Вот они, эти посты:

— верховный руководитель штурмовых отрядов (СА);

— министр внутренних дел и премьер-министр Пруссии;

— начальник прусской полиции и прусской государственной тайной полиции (гестапо);

— председатель Государственного совета Пруссии;

— президент Рейхстага;

— имперский министр авиации;

— главнокомандующий военно-воздушными силами, рейхсмаршал;

— генеральный уполномоченный по четырехлетнему плану;

— председатель Совета министров по обороне;

— организатор и глава мощного концерна по добыче руд и черной металлургии «Герман Геринг Верке»;

— имперский управляющий государственным лесным и охотничьим хозяйством...

И, наконец, как венец всей карьеры — назначенный преемник Гитлера.

И на всех этих постах Геринг не проявил себя не только мудрым, но хотя бы достаточно грамотным руководителем. Исключение составляет лишь та сторона его деятельности, которая была связана с ограблением оккупированных территорий.

И Геринг действительно грабил, используя все возможности для обогащения, страшно сказать, в первую очередь себя самого, а потом уж и любимого, но в конце концов покинутого им фюрера. На поприще грабежа рейхсмаршал проявлял удивительную смекалку и действовал весьма энергично. Он не только указывал, какие картины и ценности следует грузить в предоставляемые ему железнодорожные составы, но и сам нередко руководил погрузкой.

Так, в Париже, когда он отправлял в свое поместье Каринхалл очередную партию конфискованных у французских евреев произведений искусства, даже немецкие военные юристы высказали ему в осторожной форме свои сомнения по поводу правомерности действий подобного рода. Геринг без тени смущения ответил: «Это моя забота! Главный юрист здесь — я».

Да, он везде хотел быть главным, и это ему удавалось благодаря отнюдь не уму, а энергии, изворотливости и житейской хитрости. Его карьера никак не может служить хоть сколько-нибудь убедительным доказательством наличия у подсудимого № 1 государственного ума. Да его никто в этом и не подозревал. Другие подсудимые называли его невеждой, профаном в экономике, ненасытным Герингом, и к тому же прирожденным преступником, аморальной преступной личностью, вором и убийцей. Храбрость, решительность, хладнокровие и умение ориентироваться в обстановке — все эти качества были у летчика-профессионала Германа Геринга, о чем свидетельствуют награды, полученные им в первую

мировую войну. Но для организационной работы и руководства на каждом очередном служебном посту, а тем более на всех постах вместе (Геринг занимал одновременно до 10 постов!) бывшему лихому летчику не хватало ни времени, ни ума. У нас в Советском Союзе ведь тоже были начальники высшего ранга, которые в свое время хорошо махали шашками и водили в атаку эскадроны, но оказались полностью несостоятельными в мирное время и в условиях Отечественной войны.

Развивая на первых порах на любом новом поприще бурную организационную деятельность, не подкрепленную профессиональными знаниями, Геринг быстро сникал, утомленный своей собственной энергией, а также приемом наркотиков. Но не добившись результатов, пускал дело на самотек, хвастливо заявляя: «Я отвечаю за всё!»

Ну что же, «второму человеку империи» нельзя было отказать в наличии у него энергии в сочетании с непомерной наглостью. Его молниеносное продвижение по службе и удачи в области личного обогащения следовали друг за другом. Пожалуй, он не добился только того, чтобы все его называли, как ему хотелось, «железным Герингом». Поэтому он сам присвоил себе эту кличку.

О государственной мудрости Геринга высказался еще во времена гитлеровского рейха в 1944 году один из действительно умных соседей Германа по скамье подсудимых Ялмар Шахт. Эту замечательную письменную характеристику зачитал главный американский обвинитель в ходе допроса Шахта: «Знания Геринга, которыми он как член правительства обязан был располагать, фактически были равны нулю. В первую очередь это относится к такой области, как экономика. Он не имел ни малейшего представления о тех экономических вопросах, которыми ему надлежало заниматься по указанию Гитлера». Ниже я еще вернусь к этой красноречивой характеристике.

Геринг создал огромный чиновничий аппарат и, будучи хозяином экономики, искусно делал лишь одно — злоупотреблял своей властью. Еще плачевнее дело обстояло с результатами деятельности рейхсмаршала в области, которая, казалось, была ему ближе всего. Я имею в виду командование военно-воздушными силами гитлеровской

Германии. Клятвенные обещания, которые давал «вернейший паладин» своему обожаемому фюреру, не были выполнены. Так, в начале войны Геринг хвастливо заявлял, что ни одна бомба не упадет на Германию. И что же? Количества бомб, упавших на Германию, не сосчитать.

Весной 1940 года главнокомандующий ВВС сумел убедить «величайшего полководца всех времен» в том, что одна авиация, без поддержки танков обеспечит уничтожение английского экспедиционного корпуса в Дюнкерке. Но эта запланированная Герингом операция потерпела полную неудачу. Немецкая авиация, к счастью, не только не уничтожила противника, но и не смогла воспрепятствовать переправе экспедиционного корпуса на побережье Англии.

К подобным же военным «заслугам» главного авиатора нацистской Германии следует также отнести тысячи голодных смертей зимой 1942—43 годов в окруженной советскими войсками под Сталинградом армии Паулюса, которую рейхсмаршал обещал обеспечить всем необходимым с воздуха.

Надо сказать, что беззастенчивое вранье своему народу, бесконечные пустые, заведомо невыполнимые обещания — это, видимо, неотъемлемое свойство руководителей тоталитарных режимов. По этой части Герман Геринг был выдающимся мастером, типичным преступным представителем преступной олигархии. Профессиональная безграмотность, властолюбие, безудержное хвастовство и самоуверенность — вот что с предельной ясностью вырисовывалось в личности Геринга в ходе судебного разбирательства и многодневного допроса, а вовсе не выдающиеся умственные способности.

Я позволяю себе вернуться к характеристике, которую дал рейхсмаршалу Герингу Ялмар Шахт. Тогда она, эта характеристика, произвела на меня большое впечатление. Помню, я смотрела на Геринга, когда Джексон читал текст, и мне показалось, что Герингу стало стыдно за себя самого. К этому времени он уже вернулся на свое место на скамье подсудимых и слушал, как Джексон зачитывал этот любопытный документ. Геринг повернулся спиной к залу, как бы скрывая свое лицо. Шахт в своих мемуарах утверждает, что тем самым его бывший коллега хотел выразить свое возмущение по поводу такого описания его характера и поведения.

Итак, цитирую Шахта: «Я считаю Геринга безнравственным и преступным типом. Свое показное добродушие он умело использовал для поддержания своей популярности. Он был крайне эгоцентричной личностью. Завоевание политической власти было для него лишь средством обогащения и достижения личного благополучия. Любой успех других вызывал у него чувство зависти. Его жажда наживы не знала границ. Страсть Геринга к драгоценным камням, золоту и украшениям была невообразимой. Чувство товарищества было ему незнакомо. Он был любезен с людьми только до тех пор пока они были ему нужны, к тому же это была только внешняя любезность.

Что касается поведения Геринга, то оно было столь театральным, что его можно было сравнить, пожалуй, только с поведением Нерона.

Одна дама, которую жена Геринга пригласила на чашку чая, рассказывала, что он вышел к ним в одежде, похожей на римскую тогу, в сандалиях, усыпанных драгоценными камнями. На пальцах рук у него было множество колец с драгоценными камнями, и весь он был увешан украшениями, а лицо и губы были накрашены помадой».

Эта меткая характеристика, как мне кажется, требует существенных дополнений. Ведь не за властолюбие и безнравственность (да простят мне мою наивность!) не за отсутствие необходимых для государственного деятеля умственных способностей и профессиональную безграмотность, не за стремление к обогащению и страсть к драгоценностям и золоту и, наконец, не за театральность и любовь к переодеваниям «толстый Геринг» был посажен на скамью подсудимых. Нет! Геринг предстал перед Судом народов за неслыханные доселе уголовные преступления.

В условиях нацистской Германии, где власть имущим, как и во всяком тоталитарном государстве, было дозволено всё, Геринг быстро привык грабить и наживаться, присваивая себе имущество жертв нацистского режима, изымая или попросту воруя экспонаты из музеев, библиотек, художественных галерей и частных собраний. Но мало этого! Примерный, во всем послушный ученик обожаемого им фюрера, стремясь во что бы то ни стало выслужиться и угодить учителю, кото-

рого он не только любил, но и боялся, Геринг совершал чудовищные злодеяния. При этом он не забывал улыбаться и удивлять своих подчиненных наглыми заявлениями, такими, как «У меня нет совести!», «Мою совесть зовут Адольф Гитлер» и так далее. И это была сущая правда в устах зарвавшегося бандита.

Свою энергию Геринг использовал для создания тайной государственной полиции (гестапо) и первых концентрационных лагерей. Он руководил политическим террором, уничтожившим оппозицию, а затем и ставших неугодными бывших сторонников Гитлера. В 1934 году Геринг провел в Берлине «чистку Рёма», покончив таким образом с созданными Рёмом штурмовыми отрядами СА. Именно Герингу принадлежат слова, процитированные на процессе американским обвинителем Альбрехтом: «Каждая пуля, вылетевшая из дула пистолета полицейского, — моя пуля!»

Поистине, его усердие в услужении самым черным замыслам фюрера превозмогало рассудок. Геринг способствовал своими доносами удалению из армии генералов фон Бломберга и фон Фрича. Он являлся, как сказано в приговоре, «движущей силой агрессивной войны, уступая в этом только Гитлеру». Он был причастен к использованию рабского труда, к преследованию евреев и «окончательному решению» еврейского вопроса.

Мне лично показалось удивительным, с какой страстью стремился Геринг принять активное участие в любой без исключения преступной акции нацистского режима. Вместо того, чтобы как-то уклониться от совершения неоправданно жестоких преступлений, связанных с истреблением людей, он хотел везде поспеть и взять на себя не просто грех присвоения чужого имущества (ну ладно, был бы он просто стяжателем!), но и руководство заведомо преступными акциями. Тем самым он лишний раз демонстрировал свою преданность фюреру, а если везло (и в этом Герингу всегда везло), то и пополнял новыми шедеврами свою картинную галерею и коллекцию драгоценностей. Помнил он и о «благе государства», выступая руководителем разграбления оккупированных территорий. Обращаясь к своим единомышленникам и подручным, он любил повторять хлесткую фразу:

«Я намереваюсь грабить, и именно эффективно!». Это обещание было одним из немногих, которые выполнялись им целиком и полностью.

Характерно, что Геринг рассматривал явно преступные действия как необходимость, как нечто происходящее «в порядке вещей». Так, Геринг заявил Трибуналу, что должен взять на себя стопроцентную ответственность за аншлюсе (присоединение) Австрии, что перед вторжением в Чехословакию он угрожал бомбить Прагу, если президент Гаха не пойдет на уступки и будет чинить препятствия. Геринг «пришел в ярость» после вторжения в Норвегию, но только потому, что не получил своевременного предупреждения о необходимости подготовки военно-воздушных сил к этой операции, которую он в принципе одобрял. «Мое отношение было абсолютно положительным», — заявил он на допросе. Что касается нападения на СССР, то Геринг имел возражения только по стратегическим вопросам, а именно был против выбора момента для начала военных действий. Он хотел отложить вторжение до победы над Великобританией.

Геринг, не колеблясь, подтвердил, что «рабочие принудительно ввозились в Германию», и спокойно заявил, что «он этого никогда не отрицал». Использование заключенных концентрационных лагерей для производства авиационного вооружения Геринг объявил «правомерным». Он сказал: «Это следует считать в порядке вещей». «В порядке вещей», по его мнению, было и использование территории России «в наших целях», и ее разграбление.

В своих показаниях Геринг признал, что был заинтересован в преследовании евреев с чисто экономической точки зрения, чтобы завладеть их собственностью и устранить их из экономической жизни Европы. Это не помешало Герингу возмутиться акцией, осуществленной в ночь на 10 ноября 1938 года и получившей название «хрустальной ночи». Но причиной его возмущения были не проведенные в ту ночь по всей Германии погромы еврейских магазинов, «хрустальные» стекла витрин которых были разбиты вдребезги, а непродуманность грабежей и отсутствие в их итоге желаемых экономических результатов. Другими словами, не была пополнена казна третьего рейха.

На совещании, которое рейхсмаршал провел после «хрустальной ночи», он не только высказал возмущение, но и изложил свой проект эффективного ограбления, который должен был вынудить евреев добровольно уступить свои материальные ценности государству. Стенограмма этого совещания была во время допроса предъявлена Герингу, и он признал ее достоверность.

В приговоре суд указал, что «собственных признаний Геринга более чем достаточно для того, чтобы сделать определенный вывод о его виновности. Его вина не имеет себе равных по своей чудовищности. По делу не установлено никаких обстоятельств, которые могли бы оправдать этого человека».

ИСТОКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Да простят мне читатели этих записок нагромождение вообще-то известных фактов, описанных и сотни раз пересказанных в официальных изданиях, исторических трактатах и мемуарах. Тогда, в далеком 1946 году, эти факты нахлынули на меня, как морские волны, накрывающие в непогоду растерявшегося пловца. Мне во что бы то ни стало хотелось выплыть из этой пучины низменных человеческих страстей. Но в то же время велико было желание понять, как и почему такие страсти овладевают человеком и превращают его в чудовище. На этот вопрос я до сих пор ищу ответа. И, поверьте, не из любопытства, а из страха, что всё это может повториться.

На моей многострадальной Родине было совершено немало преступлений, но Нюрнбергского процесса у нас не было и нет. Может быть, поэтому в России ныне остались только жертвы и нет палачей.

Сталин, как и Гитлер, ушел из жизни, не дав показаний по своему уголовному делу. Исчез Гиммлер, и его коллега Ежов тоже исчез где-то в застенках НКВД. Берия, правая рука нашего вождя, может быть, что-нибудь и говорил перед смертью, но люди из его же клана позаботились, чтобы эти слова не были услышаны. И он как-то очень быстро замолчал навеки практически без судебного разбирательства,

без допроса свидетелей и без изучения документальных и вещественных доказательств. А жаль! Ведь одному из главных советских палачей после смерти нашего великого кормчего было что рассказать современникам и потомкам. Вышинский, как я уже писала, благополучно скончался на посту постоянного представителя СССР в ООН, и прах его покоится в Кремлевской стене. Что же это, как не желание власть имущих, запятнанных кровью, любыми путями избавиться от опасных для них свидетелей?

А в 1946 году совсем близко от меня сидели оставшиеся в живых немецкие братья советских палачей, посаженные на скамью подсудимых народами, которые в долгом, кровавом и упорном бою одержали победу над нацизмом. Под первым номером среди этих палачей значился Герман Геринг. Геринг считал, что рядом с ним должны были бы сидеть Сталин и Черчилль. Как бы то ни было, рейхсмаршал явно гордился местом главного подсудимого на Нюрнбергском процессе.

Не знаю, какие выбрать слова для того, чтобы меня поняли не только близкие мне по духу и мыслям люди, но и потомки тех, кто был обманут и в свое время безропотно покорился великим вождям, широкоплечим и мощным на портретах и плюгавым и тщедушным в действительности. Иосиф и Адольф успели убраться. Нет в живых и их ближайших сообщников, но всё еще бродят по миру призраки нацизма, коммунизма и других тоталитарных «измов». В конце XX века еще продолжается идеализация вождей и оправдывается то зло, которое они принесли всем народам и в первую очередь советским людям и немцам.

Да простят мне тяжеловесность слога, происходящую от нехватки у меня простых человеческих слов, а отнюдь не от богатства словарного запаса. Как бы испепеляюще просто сказал обо всем этом Варлам Шаламов! Так почему же я не молчу, сознавая свою неспособность убедить читателей в искренности и справедливости своих выводов? Я не молчу только потому, что сторонники двух диктаторских режимов не собираются очистить свои души покаянием. Угроза тоталитаризма дает о себе знать в России, в Германии и в других странах.

Нюрнбергский процесс, состоявшийся сразу же после разгрома нацизма, успел осудить не только преступления,

но и преступников, их совершивших. Это был Суд народов над *главными* немецкими военными преступниками, что нашло отражение и в его официальном названии. Поэтому показания живых главарей нацистского государства, как и сами главари, вызывали и продолжают вызывать большой интерес мировой общественности. И в первую очередь это относится к главному из главных на скамье подсудимых — Герману Герингу.

ИНТЕРЕС К ГЕРИНГУ

Мои немецкие и русские друзья, знакомые и случайные собеседники, узнав, что я была переводчиком на Нюрнбергском процессе, почти всегда спрашивают о Геринге, о его самоубийстве, поведении и внешнем виде. За этими вопросами иногда следуют нередко повергающие меня в смятение высказывания типа: «Говорят, что в ходе процесса Геринг очень изменился в лучшую сторону» или «Говорят, он прекрасно держался и мужественно защищался».

Что же, нет дыма без огня! «Артистическая» манера поведения Германа Геринга заставила многих мемуаристов, в том числе и соседей Геринга по скамье подсудимых, в какой-то мере отдать должное его поведению на процессе. На суде Геринг безоговорочно признал свою причастность к целому ряду преступлений, однако с его стороны это не было мужеством, хотя и походило на мужество. Это было как бы частью и неизбежным следствием принятой на себя «великой роли», которую, как ему казалось, он играл на сцене Истории.

Главный преступник признавался в том, что он совершал преступления, но делал эти признания даже не под давлением неопровержимых доказательств, а как бы потому, что считал свои действия правильными, не нарушающими обычаев людских и заповедей Божьих. Со стороны подсудимого и его защитника это была продуманная тактика, преследовавшая одну цель — лишить главного американского обвинителя Джексона возможности с должной убедительностью показать несовместимость действий подсудимого с людскими обычаями, человечностью и Божьими заповедями. Пользуясь этим

приемом, Геринг на перекрестных допросах в каком-то смысле как бы переигрывал Джексона.

К тому же, повторяю, он беззастенчиво красовался и похвалялся своими «историческими подвигами». Казалось, вот-вот и он воскликнет: «Какой великий рейхсмаршал погибает!» Теперь мне часто кажется, что он уже заранее знал, что сумеет избежать петли и кончит жизнь красиво.

Коллеги Геринга так вспоминают о поведении своего главного.

Франц фон Папен, по меткому определению Джексона, «державший стремя Гитлеру, когда тот прыгал в седло», пишет о Геринге и о себе: «Мне было приятно, что по крайней мере один из нас попытался защитить то, во что он когда-то верил».

Шахт, тот самый Шахт, который был столь критичен по отношению к Герингу в своей характеристике рейхсмаршала, противореча этой характеристике, написал в мемуарах следующее: «Поведение Геринга на Нюрнбергском процессе и его негромкие реплики по ходу дела свидетельствовали о его мужественной позиции. Выступая в качестве свидетеля, он (Геринг) в диалоге с обвинителями продемонстрировал свою превосходную сообразительность и находчивость. Своим внешне весьма достойным поведением он даже на обвинителей произвел неизгладимое впечатление». Правда, Шахт тут же добавляет, что такое поведение не могло скрыть шантажа, убийств, грабежа, воровства и множества других совершенных Герингом преступлений.

С последним замечанием легко согласиться. Что же касается моего впечатления о главном подсудимом Нюрнбергского процесса, то должна признаться, что своими речами покорить меня он не смог. Любые его попытки оправдаться и оправдать национал-социализм казались мне не более чем жалкими увертками пойманного преступника. Это впечатление усугублялось еще и тем, что почти за всеми преступлениями Геринга скрывалась его неутолимая жажда материального обогащения. Какие уж тут благородные идеи и высокие помыслы!

Итак, он не сомневался в том, что его ждет смертная казнь, но остался верен себе, продолжая по привычке позировать,

на этот раз перед судом. Мысль, что на Международном процессе он «подсудимый № 1», окрыляла его.

Ответы Геринга на десятидневном изнуряющем допросе (как свидетеля по своему собственному делу) были категоричными и четкими. Нередко он признавал свое непосредственное участие в преступлениях и тут же оправдывал это «благом немецкого народа» и формулой «цель оправдывает средства». Нет, он не менялся, он оставался самим собой.

Что касается внешнего облика подсудимого, то отмечу исчезновение одутловатости лица и мешков под глазами. Начальник тюрьмы полковник Эндрюс не без гордости (о, скромная гордость тюремщика!) приписывал эти положительные перемены своей заботе о заключенном, у которого сразу же после прибытия в тюрьму отобрал один или даже два (точно не помню) чемодана с наркотиками.

Лично я могу подтвердить под присягой, что свою физическую силу Геринг в тюрьме не утратил. Это я испытала на себе при совершенно невероятных обстоятельствах. С легкой руки одного французского корреспондента, которого я долго боялась, а теперь вспоминаю с улыбкой, рассказ об этом происшествии.

ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА В ОБЪЯТИЯХ ГЕРИНГА

Дело было так. В один из жарких летних дней начала августа я мчалась по коридору в зал суда, в наш переводческий «аквариум», куда можно было проникнуть через боковую дверь в конце коридора. Нечего и напоминать, что нам надлежало быть на рабочем месте до того, как маршал суда провозгласит «Встать! Суд идет!», то есть до открытия очередного заседания. Опоздания были нежелательны, а строгий американский начальник синхронистов имел обыкновение лично проверять нашу пунктуальность.

Потому-то я, ничего не замечая вокруг, бежала, напрягая все силы, чтобы не опоздать, но вдруг поскользнулась на гладком полу, пролетела по инерции некоторое расстояние и наверняка бы упала, если бы кто-то большой и сильный не подхватил меня.

В первый момент я ничего не могла понять и только почувствовала силу мужских рук. Я оказалась в объятиях крепкого мужчины, удержавшего меня от падения. Всё это длилось, наверное, несколько секунд, которые показались мне вечностью. Когда же я очнулась и подняла глаза на моего спасителя, передо мной совсем рядом оказалось улыбающееся лицо Германа Геринга, который успел прошептать мне на ухо «Vorsicht, mein Kind!» (Осторожно, дитя моё!).

Помню, что от ужаса у меня внутри всё похолодело. За спиной Геринга стоял тоже почему-то улыбающийся американский охранник. Не знаю, как я дошла до двери в аквариум. Но и здесь меня ждало новое испытание. Ко мне подскочил откуда-то взявшийся французский корреспондент. Нас, переводчиков, все хорошо знали, так как мы ежедневно сидели в зале суда рядом с подсудимыми у всех на виду. Хитро подмигнув, корреспондент сказал по-немецки: «Вы теперь будете самой богатой женщиной в мире». И, очевидно, заметив мою растерянность, пояснил: «Вы — последняя женщина в объятиях Геринга. Неужели непонятно?»

Да, этого мне было не понять, француз не учел главного, а именно того, что в объятиях нацистского преступника оказалась советская женщина. А этим всё сказано. Если бы на моем месте была англичанка, француженка или женщина какой-либо другой страны, находившейся по ту сторону железного занавеса, легко было бы представить себе такую концовку этого скорее смешного, чем грустного эпизода. В ответ на реплику корреспондента она подарила бы ему очаровательную улыбку и в перерыве между заседаниями согласилась бы пойти с ним в кафе-бар Дворца юстиции, чтобы отметить столь необычайное событие.

Событие было действительно необычайным, ибо подходить к подсудимым разрешалось только защитникам в зале суда, да и то под присмотром MP. Никому не приходило в голову нарушать это строжайшее правило. К тому же американская военная полиция бдительно охраняла подсудимых, когда они гуськом направлялись в зал заседаний. Первым шел Геринг, за ним — его охранник, за охранником — Гесс со своим стражем и так далее один за другим все остальные в том порядке, в котором они сидели на скамье подсудимых.

Получилось так, что, опаздывая, я бежала наперерез этой процессии и меня вынесло прямо на подсудимого № 1.

Что касается моего превращения в самую богатую женщину, то, очевидно, шустрый француз имел в виду, что было бы не зазорно предать случившееся широкой огласке, разумеется, в обмен на твердую валюту. По мнению этого наемника капитала, я могла бы таким образом обеспечить себе безбедное существование. Другими словами, неизвестно как подсмотревший этот случай корреспондент предлагал мне чуждый нам путь личного обогащения, возможно, и не без своего участия.

Я благодарила Бога и судьбу за то, что во время происшествия у француза не было с собой фотоаппарата. Если бы в тот момент это достижение техники находилось у него под рукой, он непременно бы им воспользовался, но фотография послужила бы не для того, чтобы пополнить домашний альбом курьезных происшествий, а для того, чтобы делать деньги. Мне было страшно додумать до конца этот возможный вариант моей истории.

Меня объятия Геринга не обогатили. Они не принесли мне ничего, кроме страха. Я боялась, что о моем приключении узнают те, кто в Советской делегации по долгу службы или по велению сердца следил за мыслями и поведением советских людей, — попросту говоря, наши родные советские стукачи. Мои беспечные выходы на смену в последний момент перед открытием заседания кончились. Теперь я передвигалась по коридорам медленно, с опаской и заранее думая только о том, как бы не встретиться вновь с железным Герингом или с пронырливым корреспондентом.

О САМОУБИЙСТВЕ ГЕРИНГА

Только самому близкому человеку и только через год, уже в Москве, я решилась рассказать об этом случае. Тому была и еще одна причина — самоубийство Геринга. Если писать всё, то надо рассказать и об этом.

16 октября 1946 года, за два с половиной часа до казни, Геринг принял цианистый калий. А надо сказать, что совет-

ские переводчики уже с 6 октября находились в Советской зоне оккупации в Лейпциге и прилежно правили стенограмму процесса, сличая ее русский перевод с подлинником. Однако между Нюрнбергом и Лейпцигом была бесперебойная связь, и весть о самоубийстве Геринга дошла до нас молниеносно.

Ко мне, казалось бы, всё это не имело никакого отношения, если бы не тот самый случай с объятиями и не мои неустойчивая психика и чересчур живое воображение. Я восприняла эту весть как грозящую мне неотвратимую опасность. Такое восприятие моим молодым соотечественникам покажется смешным. Им неведомо, что советский страх был особым всепоглощающим чувством. Он возникал внезапно, по самым невообразимым причинам или вовсе без причин. Людям моего возраста не надо объяснять, почему я боялась не мертвого Германа, а живых свидетелей — корреспондента и охранника, которым ничего не стоило за кружкой пива разболтать то, о чем я боялась не то, чтобы говорить, но и вспоминать. И тогда меня могли бы заподозрить в передаче Герингу ампулы с ядом!

С момента самоубийства Геринга начались поиски ответов на множество вопросов, главным из которых был и остается вопрос о том, кто и как передал яд подсудимому. Честно говоря, у меня этот вопрос не вызывал острого любопытства, и это потому, что — да простит меня полковник Эндрюс — условия для незапланированных контактов с подсудимыми в Нюрнберге все-таки были. Мой советский опыт подсказывает мне, что бывают случаи, когда можно усыпить бдительность любой, даже самой зверской охраны. Конечно, полковника не на шутку бы рассердило такое заявление, да еще со стороны переводчика. Но факт остается фактом — ампула с ядом была передана рейхсмаршалу, и все продуманные до мелочей тюремные запреты были преодолены. Преступник сумел доказать тюремщику, что «маршалов не вешают». И не только доказать, но и написать ему об этом в предсмертной записке.

Мы находились уже в Лейпциге, и туда из Нюрнберга продолжали поступать всё новые сообщения. Под подозрением оказывались все, кто по разным поводам и без повода встре-

чался с подсудимым в тюрьме и во Дворце юстиции. Была создана специальная комиссия по расследованию обстоятельств самоубийства. Впрочем, её выводы были впоследствии раскритикованы и отвергнуты. Наиболее вероятна версия с участием офицера американской охраны Джека Уиллиса. Романтична, но очень маловероятна, я бы сказала «по техническим причинам», версия о передаче ампулы с поцелуем. Впрочем, время от времени она всплывает в печати.

...Мои переживания и страхи ушли в прошлое, но они не были, поверьте мне, порождением болезненного воображения. К сожалению, в то время мои опасения имели реальные шансы оправдаться. И вот только через пятьдесят лет я отважилась написать о последней женщине в объятиях Геринга.

* * *

Пока еще я в зале суда и взгляд мой скользит по лицам подсудимых. Злодеяния этих людей были грозным аккомпанементом к моему краткому, но печальному жизненному пути. Преступления наших собственных вождей сплетались в чудовищный клубок с преступлениями нацизма, давили и мучили меня, как невероятный кошмар, от которого невозможно очнуться. Сами собой приходили на ум слова Осипа Мандельштама: «Этот Гитлер — продолжатель дела наших вождей».

Передо мной сидели марионетки дьявола. И мне иногда не верилось, что когда-то, совсем недавно, было детство, было счастье и солнце вставало каждое утро. Я всматриваюсь в прошлое...

ГЕРМАНИЯ, 1930

Сквозь годы я всматриваюсь в прошлое. Берлин. Мы в Германии, куда мой отец, химик по специальности, послан в длительную служебную командировку. Закрываю глаза и вижу девочку в легком платьице с кожаным ранцем на спине и маленькой кожаной сумочкой для завтраков на длинном узком ремешке через плечо. В ранце — альбом для рисования, цветные карандаши, пенал, книга для чтения, тетрадь по арифметике и тетрадь по чистописанию,

выдуманная каким-то умным немцем Зюттерлином для того, чтобы мучить детей.

Я его ненавижу, но каждый день, прежде чем открыть тетрадь по чистописанию, я читаю его фамилию, написанную готическими буквами на обложке. Под этим Зюттерлином (Siitterlin) я уже сумела написать свою фамилию так, что моя мама ее не узнала, потому что в народной школе, где я учусь, разрешают писать только готическим шрифтом и только так, как пишет этот Зюттерлин. В нашем классе его никто не любит. Он приносит нам много неприятностей, хотя мы его никогда не видели. Но наша учительница фрейлен Шталь говорит, что мы должны писать, как он. Она научилась писать, как он, когда была в первом классе, и теперь учит нас. На каждой строчке она красными чернилами пишет чистенькую остренькую букву, а мы должны повторять ее десять, двадцать раз, пока не напишем, как Зюттерлин. Мне пришлось писать каждую букву по целой странице. Я старалась, но фрейлен Шталь всё время ставила мне четверки. Сначала за буквы и за грязь, потом, когда буквы стали получаться, за одну грязь.

Мама не могла поверить, что за грязь в Германии ставят не двойки, а четверки и иногда даже пятерки. А я знала, что ставят, но не говорила ей, почему. Тогда мама пошла к нашей квартирной хозяйке. Это очень толстая фрау Гогенер с расстроенными нервами. Ее муж, тоже Гогенер, погиб на войне, и теперь она получает за него пенсию, но ей никогда не хватает денег, потому что немцы проиграли войну и победители у них всё забрали. Она мне сама об этом говорила. Но мне кажется, что денег ей не хватает потому, что она любит есть пирожные и шоколад. Так много даже детям не дают. Моя мама говорит, что это очень вредно.

Мама и фрау Гогенер обо всем говорят друг с другом, хотя мама не знает немецкий, потому что в ее гимназии в Харькове учили французский, а фрау Гогенер ни слова не знает по-русски. Но мама всё понимает, и ее все понимают. Она покупает в магазине рядом с нашим домом колбасу и говорит продавцу: «Bitte rasieren!» (Пожалуйста, побрейте!). И продавец — bitte schön — нарезает колбасу. А когда мама отдает фрау Гогенер молоко, она всегда говорит «Milch ohne

Zitrone!» (Молоко без лимона!). И Гогенерша сразу понимает, что молоко не кислое. Мой папа очень волнуется, когда мама говорит по-немецки. Он тогда шепчет: «Лида, что ты говоришь!». А сам всегда молчит, когда надо говорить, или говорит: «Ein Moment, Lexikon!», достает из портфеля толстый словарь и потом долго читает его. А за это время моя мама всё уже сказала.

Фрау Гогенер, из вредности конечно, объяснила маме, почему я получаю по чистописанию четверки и пятерки. Потому, что у немцев в школе всё наоборот. У них четыре значит «плохо», пять — «очень плохо». Поэтому немецкие родители хотят, чтобы их немецкие дети получали только единицы и двойки — «очень хорошо» и «хорошо». Ну, в крайнем случае тройки. Это у них и у нас одинаково — не плохо, не хорошо. Мама говорит, что по-русски это значит «посредственно».

Я знала, что «четыре» и «пять» — плохие отметки, но мне не хотелось, чтобы мама расстраивалась, потому что у нас скоро будет новый ребенок и папа всё время говорил мне, что маме вредно огорчаться и чтобы я, по крайней мере сейчас, слушалась и ничего не выдумывала. Папа считает, что я родилась выдумщицей и шалуньей. И я решила, что, когда родители попросят меня сказать, что говорят немцы, я буду говорить им только хорошее, чтобы мама не волновалась, а папа не сердился.

Поэтому, когда к нам пришел полицейский в каске и строгим голосом приказал маме отдать меня в школу, потому что в Германии все дети, которым исполнилось шесть лет, должны учиться, я сказала маме, что господин полицейский просит ее отвести меня в школу. И еще он сказал, что, если мама не сделает этого, ее вызовут в полицию. Я сделала вид, что этого не поняла. А мама закивала головой и спокойно ответила полицейскому: «Gut, gut! Auf Wiedersehen!» И на следующий день мы пошли с мамой в народную школу и меня записали в первый класс.

Сначала в школе было очень интересно. Все дети в нашем классе перезнакомились друг с другом. Мы с Эрикой Кацелински решили дружить, потому что сидим за одной партой. Наша учительница фрейлен Шталь сначала говорила, что мы хорошие мальчики и девочки и что мы должны

хорошо учиться. Мне очень хотелось получать хорошие отметки, и всем детям, наверное, тоже. Но потом нам надоело каждый день сидеть долго на одном месте, и однажды мальчишки на задних партах затеяли какую-то возню. Фрейлен Шталь разозлилась и вызвала двух учеников к доске. Мы думали, что она заставит их прочитать стихотворение, которое мы должны были выучить дома наизусть, но она приказала им вытянуть руки, взяла черную линейку и стала бить их линейкой по рукам. Я не вытерпела, вышла к доске и сказала, что учительница не имеет права бить учеников, что в Советском Союзе бить детей запрещено и что, когда в Германии будет революция, детей бить тоже запретят.

Шталь сразу же покрылась пятнами, перестала бить детей и даже ничего не могла сказать. Дети тоже молчали. Прозвенел звонок, дети построились парами и вышли из класса. Шталь больше ничего не говорила. Только стала называть меня «kleiner Bolschewik» — маленький большевик. Да, я маленький большевик, только пусть она не бьет детей. Как хорошо, что я живу в Советском Союзе!

Этого маме тоже нельзя рассказать, потому что она обязательно расстроится и скажет, что дети не должны делать замечания взрослым. Взрослые этого очень не любят.

Есть еще одна вещь, которую мы держим в тайне. Мы — это я, моя подруга Брунгильда и ее брат Зигфрид — дети нашей соседки. После школы мы вместе играем во дворе и ходим на летное поле напротив нашего дома. Аэропланов там нет. Только иногда они пролетают по небу, и тогда все немцы — взрослые и дети — задирают головы вверх, машут аэропланам руками и что-то кричат. По воскресеньям немцев на поле очень много, они ходят по траве, покупают в маленьких палатках сосиски с горчицей, которая у них похожа на повидло. Сосиски кладут на бумажные тарелочки с салфетками и едят прямо руками.

С тех пор, как у нас есть тайна, мы часто ходим на поле, чтобы встретиться с нашими новыми знакомыми. Их очень легко заметить среди других взрослых немцев. У них нет ни собак, ни детей. Это молодые дяди в одинаковой одежде с кожаными ремнями на груди и кожаными поясами. На голове у них шапки с козырьками. Дяди похожи на военных,

но они очень добрые. Один даже погладил меня по щеке, когда я бросила одну марку в его большую кружку с крышечкой. Он сказал: «Спасибо тебе, девочка, от всех национал-социалистов Германии!» Я сразу поняла, что это немецкие рабочие, которые собирают деньги, чтобы построить в Германии социализм. Они всегда улыбаются, когда ты бросаешь в их кружки деньги. Одному я даже рассказала, что я русская и что мы им поможем. А он спросил меня, откуда у меня деньги. Я сказала, что я ребенок и поэтому не работаю и что деньги мне дает мама, чтобы я, Брунгильда и Зигфрид поели сосисок. Папа этих немецких детей еще не нашел работу, потому что он художник, а картины, он говорит, в Германии сейчас никто не покупает. Поэтому у них нет денег. Мы так хорошо с этим дядей поговорили. В конце он мне сказал, чтобы я ничего не рассказывала родителям, потому что самое интересное —это когда у тебя есть тайна.

Я сказала Брунгильде и Зигфриду, что теперь у нас есть тайна, и мы поклялись никому об этом не рассказывать. И еще я поклялась не есть из экономии сосисок, но Зигфрид и Брунгильда почему-то не поклялись, это, наверное, потому, что они немецкие дети, а я — советский ребенок. Но я им еще расскажу о рабочих и о революции, и они обязательно согласятся.

Хорошо, что моя мама радуется, когда у меня и вообще у детей хороший аппетит. Поэтому, когда мы возвращаемся с летного поля, мама говорит, что после гулянья надо подкрепиться, и дает нам молоко с крендельками и марципанами. Зигфрид и Брунгильда на меня не обижаются за то, что мы на летном поле больше не едим сосиски, а помогаем немецким рабочим победить буржуев.

...Всё это было, было, было в Темпельгофе, на улице Берлинерштрассе дом четыре, и поэтому, прибыв с фронта в 1945 году вместо Москвы в Берлин (приказ есть приказ!), я посетила дорогие моему сердцу места и убедилась, что дом номер четыре и народная школа стоят, как они стояли в 1930 году, и что никакие бомбы их не разнесли и даже не повредили, что летное поле уцелело, но только теперь оно отгорожено от улицы высокой стеной.

Сюда, на этот Темпельгофский аэродром, для подписания акта о безоговорочной капитуляции 8 мая 1945 года

прибыли представители Верховного командования союзных войск и представители немецкого главного командования во главе с фельдмаршалом Кейтелем. Летное поле, на котором я гуляла с моими немецкими друзьями, можно сказать, вошло в историю и теперь упоминается во многих книгах и статьях.

Но нет ни Брунгильды, ни Зигфрида, ни Эрики Капелински. Из письма, которое в 1932 году прислала нам фрау Гогенер, мы узнали, что отец моих верных друзей, так и не найдя работы, женился на богатой старухе, бросив молодую жену и двоих детей. Жена, чтобы прокормить семью, подалась на улицу и занялась самой древней профессией, но не выдержала унижений и конкуренции и повесилась. Детей забрали в приют.

Эрика Кацелински несколько раз приходила к фрау Гогенер и спрашивала у нее, нет ли от меня вестей. Дело в том, что мы задолго до моего отъезда обещали писать друг другу письма. Но еще в Берлине родители запретили мне сообщать мой московский адрес, и я тогда не могла понять, почему.

Что касается фрау Гогенер, то она, наверное, узнала наш адрес из немецкой анкеты, которую отец заполнял перед тем, как мы поселились у нее в квартире. К сожалению, ее письмо мы сожгли в железной пепельнице в 1936 году, когда в нашей стране начались массовые аресты и такое сугубо личное послание восьмидесятилетней немецкой вдовы могло стать доказательством преступных связей моей мамы с фрау Гогенер, которую набиравшая обороты машина сталинского террора была способна в мгновение ока превратить в завербовавшего мою маму агента германской разведки. Тогда взрослые граждане СССР еще не могли себе представить, что для их заключения на длительный срок в советский концентрационный лагерь не потребуется ни доказательств, ни свидетелей, ни суда.

Как бы то ни было, сожжение письма не предотвратило печальных событий в истории нашей семьи, но по крайней мере свидетельствовало об осознании будущими жертвами социалистического террора надвигающейся на них опасности.

Мне было жаль, что письмо фрау Гогенер не удалось сохранить как память о детстве, о первой школе и о моих немецких друзьях. Где они теперь? Зигфрид был всего на год старше меня и наверняка не по книгам узнал, что такое вой-

на. С уверенностью можно лишь утверждать, что он меня не убил. Но, может быть, я его убила где-нибудь под Моравской Остравой? На этот вопрос нет ответа.

С приездом в Москву моя связь с Германией не оборвалась — видно, так мне было написано на роду. Мама считала, что знание немецкого языка необходимо совершенствовать, иначе с годами оно будет безвозвратно утеряно. Поэтому в Москве меня отдали в немецкую школу имени Карла Либкнехта, где преподавание всех предметов велось на немецком языке. Ее учениками были дети немецких специалистов, работавших в нашем народном хозяйстве, и немецких антифашистов, вынужденных после прихода Гитлера к власти покинуть родину, дети австрийских шуцбундовцев и, наконец, советские дети, знавшие немецкий язык. Нашими учителями были немецкие антифашисты — преподаватели школ и высших учебных заведений Германии, спасавшиеся в Советском Союзе от преследований фашистов.

Все мы были убежденными антифашистами и интернационалистами. Иначе и быть не могло! Преподаватели не только передавали нам свои знания, но и стремились воспитать нас антифашистами, борцами за дело коммунизма. Мы ходили на демонстрации, пели революционные песни. Ко дню рождения Тельмана мы писали поздравления вождю немецкого пролетариата, выражая ему свою любовь и преданность делу рабочего класса. Все письма начинались ласковым обращением «Lieber Teddy!» (Дорогой Тэдди!). С напряженным вниманием следили мы за событиями в Германии, ведь для многих из нас эта страна была родной.

В школе имени Карла Либкнехта меня приняли в пионеры и я написала сочинение на тему «Как я стала пионером». Наша классная руководительница товарищ Ризель поставила мне за него отметку «очень хорошо» и отдала сочинение на годовую выставку лучших ученических работ.

Помню, что эмоциональный рассказ об этом большом событии в моей жизни я закончила словами: «Lauer Wind zupfte an meinem Halstuch. Ich dachte, daß ich das glücklichste Kind bin auf der ganzen großen Welt» (Легкий ветерок шевелил концы моего пионерского галстука. Я думала, что я самая счастливая девочка на свете.)

Во второй половине 1936 года начались аресты среди наших преподавателей. К концу 1937 года нас уже было некому учить. И в начале 1938 года школа имени Карла Либкнехта была закрыта. Нашим учителям, убежденным марксистам и интернационалистам, знавшим свое дело педагогам, в стране социализма, куда они бежали от фашистского террора, была уготована та же участь, что и в фашистской Германии. Большинство погибло в сталинских лагерях.

Не могу забыть одной встречи в лагере в Потьме, куда я ездила на свидание к моей тете. В одном из огороженных колючей проволокой загонов, мимо которого я проходила, меня окликнула дряхлая старушка. Это была Эльза Крамер — директор нашей школы в 1935—1937 годах. До сих пор я не могу забыть ее постаревшее, до неузнаваемости жалкое лицо, как бы перерезанное натянутой колючей проволокой, и отразившийся в ее глазах испуг, когда я по привычке заговорила с ней по-немецки. Вот что сделали сталинские сатрапы с этой доброй, когда-то энергичной женщиной, всей душой верившей в победу коммунизма и никогда не расстававшейся со своим партбилетом.

Надеюсь, читатель поймет, что это не отступление от избранной темы, а пусть робкая и, может быть, неудачная попытка ее более глубокого раскрытия.

СНОВА В ЗАЛЕ СУДА

В Нюрнберге я мысленно все время возвращалась в свое прошлое, тесно связанное с событиями тридцатых—сороковых годов в Германии и на моей Родине. На заседаниях Трибунала мне невольно приходила в голову мысль о том, что две родственные тоталитарные системы не враждовали, а как бы соревновались друг с другом. И это социалистическое соревнование в жестокости, агрессивности и бесчеловечности продолжалось до тех пор, пока одна система не была сметена военной мощью великих держав и Суд народов не произнес ей свой суровый приговор.

Именно суд обнажил узы кровавого братства социализма и национал-социализма. Эта мысль не покидала меня в Нюр-

нберге. Она не была порождением болезненного восприятия действительности, которое было вызвано обидой, нанесенной моим государством близким мне людям. Нет, она, эта мысль, невольно сама собой возникала на заседаниях суда и не могла не возникнуть, ибо сходство режимов было слишком велико. Советские судьи и обвинители, рассматривая преступления нацистов и давая им правовую оценку, неминуемо должны были прийти и, несомненно, приходили к такому же выводу. Они были в большей или меньшей степени соучастниками преступных деяний советского руководства, и поэтому их позиции и внешнее поведение вполне объяснимы. Что они думали, как они при этом управлялись со своею собственной совестью? Эти вопросы остаются без ответа.

РИББЕНТРОП

...И вот 1946 год, весна. В зале суда идет допрос министра иностранных дел нацистской Германии подсудимого Иоахима фон Риббентропа.

Увидев его на скамье подсудимых, я в первые минуты не могла поверить, что это тот самый Риббентроп, который во главе большой немецкой делегации в августе и сентябре 1939 года прилетал в Москву и по поручению фюрера вел со Сталиным переговоры, завершившиеся сговором двух диктаторов. У этого Риббентропа было совсем другое лицо — постаревшее, лишенное тщеславной самоуверенности.

Свидетельством того сговора или, вернее, заговора против своих народов и народов всей Европы было подписание «пакта о ненападении», «договора о дружбе и границе» и секретных протоколов к ним.

В конце XX века нет необходимости излагать историю рождения и исчезновения этих ныне опубликованных протоколов и тем более пересказывать их содержание, подтверждающее безнравственность тайной противоправной сделки Сталина с Гитлером. Анализ и оценка этих документов даны в монографиях и статьях российских и немецких историков, посвященных советско-германским отношениям в 1939—41 годах. Такой анализ — дело специалистов, и они,

как мне кажется прекрасно с ним справились. Как библиотекарь, я хотела бы, нет, я просто должна рекомендовать своим возможным читателям две книги, которые, с моей точки зрения, заслуживают особого внимания.

Первая книга — это весьма интересный капитальный научный труд немецкого историка Ингеборг Флейшхауэр*. Книга весьма интересна не только для историков и политологов. Я с большим удовольствием прочла ее в русском переводе, который сделан настолько добротно, что не вызывает даже намека на чувство профессионального критицизма в адрес переводчиков Г. П. Бляблина, Н. А. Захарченко, В. Н. Прибыткова, Е. И. Селивановой и В. М. Чернова. Их, как и редактора и автора предисловия Л. А. Безыменского, хочется поблагодарить за нелегкую, прекрасно выполненную работу, очень нужную для российского читателя.

Вторая книга принадлежит перу известного российского историка-германиста Г. Л. Розанова**. Ее автор на основании большого документального материала популярно излагает ход событий, дает характеристику и оценку советско-германским отношениям в названный период.

Итак, интересующимся рекомендую эти книги, но, дойдя в воспоминаниях о Нюрнбергском процессе до Риббентропа (на скамье подсудимых он сидел между Гессом и Кейтелем), я не могу ограничиться лишь констатацией заметного изменения внешнего облика подсудимого в 1946 году по сравнению с деловым, самоуверенным видом министра иностранных дел Германии в 1939 году

Я и по сей день хорошо помню мысли и чувства, нахлынувшие на меня 24 августа 1939 года, когда на первой странице «Правды» я увидела большую фотографию, на которой между письменным столом и стеной стояли Риббентроп, Сталин и Молотов, а на переднем плане в левом углу возвышалась массивная фигура члена немецкой делегации Фридриха Гаусса с подписанными экземплярами «Пакта о не-

---

* Флейшхауэр И. Пакт: Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938—1939 / Пер. с нем. Вступ. слово В. М. Фалина. Предисл. Л. А. Безыменского. М.: Прогресс, 1991. 480 с.

** Розанов Г. Л. Сталин — Гитлер: Документальный очерк советско-германских отношений 1939—1941 гг. М.: Междунар. отношения, 1991. 224 с.

нападении» в вытянутых вперед руках. Этим он как бы говорил своим соотечественникам и гражданам Советского Союза: «Смотрите, чего мы, немцы, добились!» На фотографии Риббентроп стоит, сложив руки на груди, явно довольный собой и результатами переговоров, все четверо улыбаются, хотя, несомненно, знают, какое черное дело они сотворили. Перефразируя известные слова Герцена, посвященные картине «Свидание Блюхера и Веллингтона после Ватерлоо», можно сказать: «Еще бы им не улыбаться. Только что они своротили телегу европейской истории в такую кровавую грязь, в которой она увязнет по ступицу и долго еще не сможет выйти на прямую дорогу».

Меня же, когда я увидела это на страницах наипартийнейшей из наших партийных газет, охватил ужас. Мое антифашистское воспитание и чувство любви — не к Сталину, конечно, а к моей Родине — не позволяли мне примириться с мыслью о союзе советского народа с агрессивной и бесчеловечной гитлеровской кликой.

Передовая статья «Правды» и текст пакта, напечатанный здесь же, на первой странице газеты, рядом с фотографией, не оставляли никаких сомнений в том, что отношения двух стран в одночасье переменились. Непримиримая борьба коммунизма с фашизмом сменилась тесным сотрудничеством социализма с национал-социализмом, и Германия внезапно «перестала быть агрессором».

Мне, как и всем ученикам немецкой школы имени Карла Либкнехта, слишком хорошо было знакомо лицо германского фашизма. Само заключение пакта с гитлеровской Германией воспринималось нами весьма болезненно. Не только потому, что нацисты не скрывали своей неприязни к другим народам и не на словах, а на деле приступили к реализации захватнических планов, но и потому, что — мы это знали — они предали свой собственный народ, открыв ему путь в разверстые братские могилы. Что касается укрепления советско-германских отношений, то мы знали, что «продолжение следует». И оно не заставило себя долго ждать.

Первого сентября 1939 года залпами броненосца «Шлезвиг-Гольштейн» и вторжением вермахта в Польшу нацистская Германия развязала вторую мировую войну. Третьего

сентября Англия и Франция объявили войну Германии, а утром 17 сентября Красная армия пересекла советскую границу и начала свое продвижение по территории Польши. Но не для того, чтобы оказать военную помощь терпящему бедствие соседу и вступить в военное противоборство с нацизмом, а для того, чтобы вместе с Гитлером растерзать Польшу и объявить ее несуществующим государством.

Найдутся, безусловно, найдутся люди, которые не согласны со мной. Еще не перевелись и прямые почитатели Сталина. Они в своих душах и в литературе найдут доводы, подтверждающие правильность решения нашего вождя о военном взаимодействии с Германией «в сложившихся условиях». Не будем вступать в споры, но будем придерживаться «Правды, только Правды и ничего кроме Правды», как бы ни было трудно на этом пути.

В 1939 году мне было 16 лет и я не могла похвастаться большим жизненным опытом, а тем более знаниями в таких далеких от меня областях, как внешняя политика и военная стратегия. О секретных протоколах, об обмене информацией между диктаторами через германского посла в Москве Шуленбурга, о согласовании совместных заявлений и коммюнике, о ходе переговоров Молотова с Гитлером в ноябре 1940 года и о многом другом советские граждане или вообще не получали информации или она была весьма скудной.

Но всё же многие мои соотечественники давали в то время резко отрицательную оценку происходящему. Мы слишком хорошо знали повадки нашего «хозяина» и не сомневались, что «великий учитель, полководец и вождь» может точно так же, как и Гитлер, единолично принимать любые противоправные решения.

ВЗАИМНАЯ ЛЮБОВЬ ДИКТАТОРОВ

Вожди двух режимов один другого стоили. Ныне взаимная симпатия, чуть ли не восхищение диктаторов друг другом стало общеизвестным фактом.

Советник германского посольства Г. Хильгер пишет, что «это восхищение было, по-видимому, взаимным с той толь-

ко разницей, что Гитлер не преставал восхищаться Сталиным до последнего момента, в то время как отношение Сталина к Гитлеру после нападения Германии на Советский Союз перешло сначала в жгучую ненависть, а затем в презрение»*.

Ни в одной из прочитанных мною книг о фюрере я не обнаружила отрицательных высказываний немецкого диктатора в адрес своего советского собрата. Что же касается положительных высказываний, то их больше чем достаточно**.

Гитлер неоднократно выражал свое восхищение экономической политикой Иосифа Виссарионовича, отмечая, что она была «свободна от гуманистического слюнтяйства». Фюрер называл Сталина «гениальным малым» за то, что советский вождь придумал стахановское движение и за воистину «удивительное умение использовать рабочую силу» (читай: рабский труд!). По мнению Гитлера, сталинские пятилетние планы развития экономики были неплохи и «не выдерживали сравнения только с немецкими планами».

Давая общую оценку личности советского вождя, Гитлер заявлял, что Сталин — «великий человек, достойный всяческого уважения». Эти весьма положительные отзывы и лестные похвалы уместно завершить тем, что было сказано фюрером переводчику В. М. Бережкову 13 ноября 1940 года.

В. М. Бережков, ездивший в 1940 году в составе возглавляемой Молотовым советской делегации на переговоры в Берлин, впоследствии рассказывал, что, когда советская делегация покидала имперскую канцелярию, к нему вдруг подошел Гитлер и сказал о своем глубоком уважении к Сталину. Советский историк Розанов, упоминая об этом в своей книге, пишет, что «лицемерия Гитлеру было не занимать».

Мне лично кажется, что дело здесь не в лицемерии. Психология злодеев еще недостаточно изучена, поэтому трудно с уверенностью утверждать, было ли это лицемерием или непреодолимым желанием злодея перед уже решенным нападением на страну Советов окликнуть родственную душу в далекой Москве.

---

* Цит. по кн.: Розанов Г. Л. Сталин — Гитлер. М., 1991. С. 99.

** См.: Pickert H. Hitlers Tischgesprache im Fuhrerhauptquartier. 1941—1942. Bonn, 1951.

Существование преступного сговора постепенно получало в 1939—1940 годах всё новые и новые подтверждения. Самым убедительным из них был для меня, как и для многих наших граждан, второй визит Риббентропа в Москву 27 сентября 1939 года и подписание на следующий день «договора о дружбе и границе». О секретных протоколах к нему нам тогда ничего не было известно. Ясно было одно: вместо того, чтобы осудить фашистскую агрессию, моя Родина вступила с агрессором в дружеский союз. Мысль о единении Сталина с Гитлером заставляла меня содрогнуться от ужаса и невольно задуматься о том, сколько страданий союз двух кровавых монстров может принести нашим странам и всему человечеству.

СЕКРЕТНЫЕ ПРОТОКОЛЫ

Обстановка продолжала нагнетаться. 29 сентября «Правда» опубликовала совместное советско-германское заявление, подписанное Молотовым и Риббентропом. В этом «историческом» документе утверждалось, что если усилия правительств Германии и СССР по ликвидации войны в Западной Европе не достигнут цели, то «...таким образом будет установлен факт, что Англия и Франция несут ответственность за продолжение войны... Правительства Германии и Советского Союза будут консультироваться друг с другом о необходимых мерах».

Эту ахинею можно было прочесть в свежей центральной газете, а не в каких-то строго засекреченных архивах, и для того, чтобы понять ее смысл, не нужно было знать о секретных протоколах. О них, этих протоколах, речь зашла на Нюрнбергском процессе во время допроса Риббентропа защитником подсудимых Гесса и Франка доктором Альфредом Зайдлем.

Именно из-за этих протоколов заседание Нюрнбергского суда 1 апреля 1946 года осталось в памяти членов советской делегации и заставило изрядно поволноваться советских судей и обвинителей. Ведь они на процессе не только изобличали главных нацистов, но и обязаны были неукос-

нительно защищать социалистическую государственную систему и оправдывать каждое ее деяние, даже если оно было преступным. Ох, как им это было нелегко! И на этом поприще они не щадили живота своего. Делали они это, думаю, не только потому, что были убежденными коммунистами, — ведь среди них были и люди умные, образованные, юристы первой величины. Несомненно, им придавал усердия хорошо ведомый всем советским гражданам животный страх перед чудовищной государственной карательной машиной. Быть уничтоженным морально и физически можно было за малейшую провинность, а иной раз и без таковой.

Вступаясь на Нюрнбергском процессе за первое в мире социалистическое государство, советские юристы защищали не только сталинскую политику от нападок нацистских адвокатов, но и свое место под солнцем сталинской конституции, а нередко и свою собственную жизнь. Многие из них сделали блестящую карьеру, занимали высокие посты в советских правовых институтах и, будучи не в силах отказаться от материального благополучия, превратились в верных прислужников режима, погубивших в сталинское время тысячи людей. Да, они сами были преступниками и стремились не к покаянию, а к сокрытию этих преступлений.

И первого апреля 1946 года как раз на допросе Риббентропа защитником Зайдлем главному обвинителю от СССР Руденко пришлось решать такую непростую задачу. Доктор Зайдль, конечно, отдавал себе отчет в том, что обнародовать содержание и тем более добиться приобщения советско-германских секретных протоколов к документам процесса на заседании Международного трибунала будет нелегко. Поэтому прежде чем использовать в интересах защиты этот козырь, он проделал большую подготовительную работу. Вызвав в Нюрнберг в качестве свидетеля бывшего начальника юридического отдела германского МИДа Фридриха Гаусса, того самого, который прилетал в Москву вместе с Риббентропом, Зайдль получил от него письменные показания, в которых Гаусс подробно изложил предысторию и содержание секретных протоколов. Вооружившись этим, казалось, неопровержимым документом, Зайдль приступил к допросу Риббентропа.

До этого злополучного допроса документальные свидетельства нашего сговора с агрессором — секретные протоколы — были неизвестны общественности, во всяком случае в Советском Союзе. И даже после процесса, когда весь мир узнал о существовании этих тайных документов, в СССР они всё еще держались в секрете. А сохранившиеся копии объявлялись фальшивками.

Итак, на заседании суда Зайдль зачитал вступительную часть секретного протокола к «пакту о ненападении» и попросил Риббентропа подтвердить правильность текста. Не успел Риббентроп дать утвердительный ответ, как со своего места за столом Советского обвинения встал Роман Андреевич Руденко и быстро направился к трибуне для выступления представителей защиты и обвинения.

Обращаясь к председателю, он заявил, что вопросы, задаваемые адвокатом, никакого отношения к защищаемым Зайдлем подсудимым Гессу и Франку не имеют. И к тому же суд не занимается исследованием вопросов, связанных с политикой союзных держав, а рассматривает конкретные дела главных немецких военных преступников. Поэтому подобные вопросы со стороны защиты являются попыткой отвлечь Трибунал от вопросов, рассматриваемых на этом процессе.

На этом основании Руденко далее заявил, что, по его мнению, следует запретить подобного рода вопросы как не имеющие отношения к данному конкретному делу. Что же касалось письменных показаний Гаусса, то главному советскому обвинителю не оставалось ничего, как только сказать, что он не хочет говорить по существу этих показаний, поскольку не придает им никакого значения.

После того как судьи, не покидая своих мест за судейским столом, посовещались, председатель суда Лоренс в своей невозмутимой спокойной манере всё же разрешил Зайдлю продолжать допрос и задать интересующие его вопросы. Отвечая на них, Риббентроп поведал суду о секретных советско-германских протоколах.

Примерно то же самое сделал вызванный по ходатайству доктора Зиммерса (защитника подсудимого Редера) свидетель Эрих фон Вейцзеккер, бывший статс-секретарь германского МИДа. На заседании суда 21 мая его допрашивал всё

тот же неугомонный доктор Зайдль. Вейцзеккер изложил содержание секретного протокола к советско-германскому пакту от 23 августа 1939 года. И тут вновь с протестом против вопросов, связанных с внешней политикой других государств, выступил Руденко. Он также назвал фальшивками копии секретных протоколов, которые к тому времени успел каким-то образом достать неутомимый доктор Зайдль. Главный советский обвинитель делал всё возможное, чтобы не допустить обнародования секретных документов, подписанных Молотовым и Риббентропом в 1939 году.

Дело кончилось тем, что Трибунал отказался от приобщения незаверенных копий протоколов к документам процесса, но не допустить обнародования их содержания Руденко не удалось.

Я опускаю здесь многие подробности и вспоминаю только то волнение, которое охватило нас, представителей Советского Союза, впервые узнавших о существовании письменных свидетельств тайного сговора Сталина с Гитлером. Позволю себе обратить ваше внимание на то, что каждый из нас узнал о существовании этих секретных документов и их содержании не у себя дома, за письменным столом. Нет! Мы услышали об этом в зале заседаний Международного суда, заполненном чужими, внимательными слушателями, представителями разных народов и стран, профессий и убеждений. А если к этому добавить, что кое-кто сидел еще и в кабине синхронного перевода и должен был с предельной точностью доносить до присутствующих в переводе на русский язык смысл каждого выступления, каждой молниеносной реплики и замечания, в моем случае — немецко-говорящих участников диалога, при этом сохраняя спокойствие и ничем не выдавая своих чувств и своего отношения к происходящему... Тогда-то вы и поймете, с какими психологическими трудностями сталкивается человек, по воле судьбы ставший нежданно-негаданно участником такого события, как Международный процесс в Нюрнберге. Я сознательно не упоминаю здесь о профессиональных трудностях перевода. О них надо говорить особо.

Слушая обвинителей, защитников, свидетелей и, конечно, Риббентропа, я всё время возвращалась в предвоенные

годы и невольно вспоминала то чувство неотвратимой беды, которое не покидало меня после визитов в Москву нацистского министра иностранных дел.

И в конце концов беда пришла в самом страшном, самом жестоком обличье. Она обрушилась на нас и на простых немцев в виде самой беспощадной, самой кровавой войны, которую развязали нацистские военные преступники. Предчувствие того, что эта противоестественная «дружба» не доведет нас до добра, мучило советских людей все эти долгие двадцать два месяца между заключением «договора о дружбе» и нападением фашистской Германии на СССР. Не хотели этой кровавой развязки и немногие порядочные люди, которые еще оставались в немецком руководстве. Но время было неумолимо, и уже звучал в наших ушах полет валькирии...

ПОЛЕТ ВАЛЬКИРИИ

Летом 1941 года перед самой войной мои друзья, москвичи, любители классической музыки, порадовали меня редким в ту пору подарком — билетом на концерт в сравнительно недавно открывшийся концертный зал им. Чайковского. Достать билеты в этот новый зал Московской филармонии было тогда непросто. Зал построили в 1940 году, и еще далеко не все московские любители музыки смогли хотя бы по разу побывать в нем. Мне повезло. Зал, его архитектура и акустика мне понравились.

Не могу теперь вспомнить, какой играл оркестр и кто именно дирижировал. Но хорошо помню, что исполнялись симфонические произведения немецких композиторов XIX века, среди которых первое место занимали произведения любимого композитора фюрера — Рихарда Вагнера. Не в укор этому великому композитору скажем, что в 1940 году и до самого начала Отечественной войны, его произведения нередко включались в программы концертов, очевидно в знак нашей «нерушимой дружбы» с Гитлером. Поэтому содержание очередного концерта, на который попала я, никого не могло удивить.

Зато изумляла программа, которая продавалась у входа в зал и была отпечатана на превосходной толстой глянцевой бумаге на двух языках — немецком и русском. Ее полиграфическое оформление отличалось особой тщательностью и строгостью и тем самым подчеркивало значительность предстоящего концерта.

Перед самым началом концерта в зал в сопровождении сотрудников посольства вошел посол Германии в СССР граф фон Шуленбург. Невозможно было тогда не обратить на него внимание, а теперь не вспомнить этого высокого благородного пожилого человека, погруженного в какую-то глубочайшую скорбь, которая безошибочно читалась на его лице. Сидевшая рядом со мной дама шепотом спросила у меня: «Что с ним?». Но тогда никто из нас, простых смертных, не знал ответа на этот вопрос.

Ответ последовал через несколько дней — 22 июня 1941 года. И в памяти многих из тех, кто видел посла на симфоническом концерте в июне 1941 года, граф фон Шуленбург остался предвестником надвигающейся беды.

Дальнейшая судьба графа трагична. Он был казнен в связи с неудавшимся покушением на Гитлера 20 июля 1944 года. Надпись на мемориальной доске в честь Шуленбурга на здании посольства Германии в Москве гласит: «Er lies sein Leben für die Ehre seines Volkes» (Он отдал жизнь за честь своего народа).

КОНЕЦ ПРЕСТУПНОЙ ДРУЖБЫ

Воистину «блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на путь грешных не ста...», и дружба двух диктаторов не спасла нас от войны. Она только добавила позора в летопись преступлений сталинского режима и привела к неоправданной гибели сотен тысяч людей, не говоря уже о нанесенном нашему народу моральном ущербе.

Рискуя навлечь на себя гнев моих соотечественников, я должна, если не хочу отступать от правды, преодолеть душевную робость и признаться, что освободиться от гнетущего чувства беды и стыда за свою Родину я смогла только тогда, когда Великая Отечественная война внезапно прекратила

нашу преступную дружбу с гитлеровской Германией. Вспомните только текст телеграммы, которую Сталин и Молотов поспешили отправить Гитлеру 30 января 1940 года. В ней говорилось: «Наша дружба, скрепленная кровью, еще даст свои плоды». Дружба эта в общей сложности длилась всего год, десять месяцев и четырнадцать дней и, действительно, успела принести плоды поистине чудовищные. Уже свершились аресты польских офицеров, которых ждала Катынь, и уже не за горами была оккупация прибалтийских государств и репрессии против их граждан.

С началом войны мне стало как-то легче, с души свалился тяжелый камень. Теперь мы были в одном строю со всеми честными людьми на земле независимо от их убеждений и национальности. Важно было только одно — покончить с нацизмом, а потом... Потом, может быть, появится возможность освободить Родину от сталинизма. Какие безумные мысли бродили некогда в моей юной голове! Но в самой готовности бороться с нацизмом и впервые за много лет участвовать в справедливом всенародном сопротивлении злу, а не ждать ареста или ссылки, было что-то вселяющее надежду на конечное торжество справедливости.

Дети моего, 1923 года рождения с выпускного школьного вечера шагнули на фронт, где их ряды понесли наибольшие потери. Ученики немецкой школы им. К. Либкнехта пошли в московские военкоматы, и многие из них по заданию советской разведки встретились с врагом по ту сторону фронта. Многих немецких мальчиков под видом отправки на фронт погрузили в вагоны и отправили в ГУЛАГ, в трудармию, в ссылку в массовом порядке, как это было у нас принято. Если бы у меня было время и здоровье, я могла бы составить список бывших учеников школы с описанием их героического и мученического пути.

Учителя школы почти все погибли в ГУЛАГе. Одна товарищ Ризель осталась на свободе. В 1939 году я встретила ее у станции метро на Кропоткинской. Она очень обрадовалась. И когда мы отошли в безлюдное место на бульваре, шепотом сказала мне, что всех ее коллег-учителей арестовали, что она одна осталась на свободе и что семьи арестованных, с которыми она всё это время в Москве была связана, теперь

проклинают ее. Они уверены, что Ризель каким-то образом способствовала аресту их родственников. Маленькая, тогда еще худенькая, наша учительница, такая строгая и решительная на уроках, теперь стояла и плакала. Мне нечем было ее утешить.

ПАРЕНЕК ИЗ КАЗАРМ НКВД

С началом военных действий первая мысль моя была идти на фронт, но осознание того, что мои родители арестованы, удержало меня от этого шага. Больше всего с момента ареста я боялась, что мы потеряем друг друга навсегда. В тридцатые годы — в лабиринте детских домов, в сороковые — в водовороте войны. Одна надежда была на наш старый постоянный московский адрес в Казарменном переулке, рядом с главными казармами НКВД у Покровских ворот, где нам с сестрой оставили две маленькие проходные комнаты.

Помню, я долгое время в страхе обходила это здание стороной. Но перестала делать это, как ни странно, именно в 1937 году и именно после той страшной ночи, когда арестовали моего отца.

Арестовывать отца пришли два энкаведешника в штатском и с ними солдат из этих самых казарм — большой, неуклюжий деревенский парень в шинели и огромных сапогах. Его поставили в передней, и он стоял там, у входной двери, никем не замечаемый, часов пять, пока двое в штатском рылись в папиных бумагах, книгах и даже в наших детских вещах.

Но всё когда-нибудь кончается, и настало время прощаться. Мы, две босые девочки в ночных рубашках, мне тринадцать лет, моей сестре — шесть, повисли на папиной шее и, плача, просили его не уходить. Только тут я зло взглянула на солдата, который сейчас должен увести папу, может быть, навсегда, и увидела, что из его широко открытых серо-голубых глаз с редкими белыми ресницами, не переставая, льются на солдатскую шинель крупные светлые слезы. Помню, меня это поразило, а потом стало каким-то утешением. Пока есть в России такой солдат, мы не одиноки, думалось мне в тяжелые минуты, когда казалось, что сердце разорвется от возмущения и боли и жизнь остановится.

На фронт, во фронтовую разведку, я ушла в 1944 году, когда моего отца вместе с другими учеными и специалистами, приговоренными без суда и следствия к 10 годам лишения свободы, внезапно помиловали за работу на «шарашке», а маму после 5 лет на Колыме и года с небольшим на 101-м километре от столицы, в городе Александрове, — вы не поверите — без допросов и анкет вернули в Москву, вручив ей паспорт с московской пропиской. После шести лет разлуки, тюрем, лагерей, свиданий, посылок и передач наша семья наконец воссоединилась.

ЕЩЕ О РИББЕНТРОПЕ

Но вернемся в Нюрнберг 1946 года, и послушаем показания Риббентропа по его собственному делу. Об этих показаниях ничего особенного не скажешь кроме того, что Риббентроп невольно подтверждал правильность характеристики, которую ему дал в свое время острый на язык главный нацистский специалист по вопросам пропаганды Йозеф Геббельс: «Если руководителей рассматривать в лупу, то у каждого из них можно обнаружить хотя бы одно достоинство и прийти к выводу, что он умен, или что он человек с характером, или что он специалист в своей области, или что он просто хороший парень. Но есть одно исключение — это Риббентроп. У него еще никому не удалось обнаружить хотя бы одно положительное качество»*.

Именно такая марионетка, беспрекословно выполнявшая команды вождя, устраивала Гитлера на посту министра иностранных дел.

ГИБЕЛЬ СОВЕТСКОГО ОБВИНИТЕЛЯ

Однако оставим Риббентропа, тем более что советскую делегацию на Нюрнбергском процессе после проклятых секретных протоколов ждали еще более страшные потрясения. Они навсегда остались в памяти, их нельзя забыть.

* Цит. по кн.: Schwerin von Krosigk. Es geschah in Deutschland. Tubingen und Stuttgart, 1951. S. 235.

Утром 23 мая в доме, где жили советские обвинители, раздался выстрел. Погиб помощник главного обвинителя от СССР государственный советник юстиции 3-го класса генерал Николай Дмитриевич Зóря.

Официальное сообщение по поводу этой смерти гласило, что генерал Зóря трагически погиб при чистке личного оружия. В эту версию, конечно, никто поверить не мог. Кому придет в голову чистить оружие перед уходом на работу? К тому же переводчица обвинителей, симпатичная дама в летах, полиглот из Питера, жившая в том же доме, что и Зóря, в тот же день сообщила нам, нескольким своим коллегам, что Николай Дмитриевич застрелился и что доказательством тому служит записка, которую он оставил в своей комнате на столе и которую она сама видела, но не читала. Записку сразу же кто-то забрал. Но она была, а, как известно, мертвые записок не пишут.

Высказав всё громким взволнованным голосом, наша коллега вдруг как-то сразу осеклась. И почти шепотом попросила нас никому ничего не говорить о случившемся. Говорить никто и не собирался, зная, что в окружении прытких стукачей это крайне опасно. Но думать советская власть запретить не могла, и каждый из нас молча думал о причинах гибели генерала.

Что касается меня, то я с самого начала и по сей день уверена, что это, если не убийство, то в лучшем случае вынужденный уход из жизни советского человека. В те годы такое было обычным явлением, и примеров можно было бы привести не сотни, а тысячи.

Зóря слишком хорошо знал советскую карательную систему, в которой много лет проработал, и поэтому отдавал себе отчет в том, что любой промах, да еще на международной арене, неминуемо влечет за собой тяжкое наказание. А здесь речь шла не о проступке, не об ошибке, пусть даже значительной, а о самом страшном в Советском Союзе преступлении — запятнании священного имени великого вождя. Трудно себе представить гнев, который наверняка охватил Иосифа Виссарионовича, когда он из подробных донесений узнал о том, что произошло на Нюрнбергском процессе 1 апреля и 21 мая, когда какой-то фашистский адвокатишка, пользуясь «фальшивками», посмел перед всем миром

«оклеветать» самого последовательного и самого мудрого миротворца планеты. Такого отец народов, а вместе с ним его прихвостни простить не могли.

Интересно: можно ли было не допустить упоминания секретных протоколов и тем более обнародования их содержания на заседаниях Международного трибунала? Но в Москве этот вопрос никого не интересовал. Надо было не допустить, а если не смогли, то расплачивайтесь! Возник совсем другой вопрос: кто виноват? И был возможен лишь один ответ: виноваты обвинители. Они не смогли заткнуть рот защитникам, свидетелям и подсудимому Риббентропу.

Конечно, покарать всех обвинителей скопом вместе с их ближайшими родственниками, как это было принято в Советском Союзе, оказалось невозможным, ибо речь шла о международном процессе, который должен был войти в Историю как достойное завершение второй мировой войны. Таков был замысел победителей, и нарушать его было нельзя, поскольку среди победителей был и сам великий наш полководец. Необходимо было срочно найти одного во всем виноватого и убрать его аккуратно, без шума, не привлекая внимания мировой общественности, не прерывая заседаний Трибунала, но ясно намекая нашим юристам, что в таких делах оступаться не полагается.

Очевидно, что подручные Берии в Нюрнберге успешно справились с этой ответственной задачей. Жертва для дракона из среды обвинителей была выбрана. Ею стал помощник главного обвинителя генерал Зоря.

Сам ли он покончил счеты с жизнью, когда почувствовал, что у него нет другого выхода? Или ему было предложено навсегда уйти из жизни, оставив жену и детей? А может быть, его просто застрелили советские специалисты по меткой стрельбе, работавшие в Нюрнберге, бравые бериевские мальчики из команды уже упомянутого Лихачева? На эти вопросы нет ответа, потому что «иных уж нет», а те, кто живы, предпочитают молчать или с завидным упорством отрицают свою причастность к выполнению заданий МВД-МГБ за рубежом. Бог им судья!

Эта печальная история тогда, в 1946 году, в Нюрнберге потрясла меня. В последние годы многое из того, что в те дни

было мне непонятно, проясняется. Статисту, как известно, не положено знать о том, что происходит за кулисами и чем заняты главные действующие лица, когда он уходит с театральных подмостков и ждет новой команды режиссера. В 90-е годы в печати появились статьи, из которых я узнала, что Н. Д. Зóря по указанию Руденко принимал Зайдля по вопросу секретных протоколов и сказал ему, что не видит предмета для разговора, ибо копии протоколов не были заверены.

Сталин, узнав о гибели Зóри, изрек: «Похоронить, как собаку!» А сын генерала Юрий Николаевич Зóря предпринимал всё, что в его силах, чтобы выяснить истинные причины и обстоятельства гибели отца. Он не сомневается в том, что смерть Николая Дмитриевича была насильственной. Да она и не могла быть иной в государстве сталинского образца.

ДЕНЬ КАТЫНИ

Раскрытие тайны секретных протоколов на заседании Международного трибунала было для советских участников процесса не единственным серьезным потрясением. Другим поистине тяжелым переживанием для большинства из нас было «катынское дело». Каждый воспринял это печальное событие по-своему, исходя из собственного жизненного опыта, но тяжело было, бесспорно, всем советским. И судьям, внезапно утратившим свою самоуверенную окаменелость, и обвинителям, которым суждено было на примере Катыни еще раз убедиться, что Нюрнбергский трибунал — это не суд Союза Советских Социалистических Республик. Наконец, тяжело было рядовым членам делегации, переживавшим всё, что происходило в зале суда, и делавшим свои выводы... Многие из этих статистов молча думали о своем, скрывая эти мысли, так как официальное право на существование имела лишь одна кремлевская версия. Она гласила: осенью 1941 года гитлеровскими оккупационными властями в Катынском лесу было расстреляно 11 тысяч польских военнопленных.

Сталин, очевидно, решил использовать Нюрнбергский процесс для того, чтобы показать всему миру, что в массовом расстреле поляков в Катыни, а заодно в их массовой гибели

в лагерях ГУЛАГа виновно не социалистическое, а национал-социалистическое государство, не он, отец народов, а вождь немецкого рейха. Братья-близнецы, один из которых успел бесславно окончить свою жизнь, а другой торопился закрепить за собой пьедестал великого миротворца, вновь противостояли друг другу, на этот раз в международном суде.

Уверенные в легкой победе кремлевские заправилы отдали своей послушной нюрнбергской команде приказ: включить катынское дело в приговор Международного трибунала и таким образом, свалив вину на немцев, поставить раз и навсегда точку не только в истории катынского расстрела, но и в судьбе тысяч поляков, нашедших свою гибель в «исправительно-трудовых» лагерях нашей страны.

Наши судьи и обвинители ретиво бросились выполнять приказ Москвы. Советский опыт осуждения людей без судебного разбирательства и без права на защиту, страх перед своим государством и его руководителями не позволили нашим юристам высшего ранга трезво оценить обстановку с учетом всех имеющихся по катынскому делу документов. Не задумываясь над возможными последствиями, они сами полезли в устроенную ими же самими ловушку, предоставив суду «Сообщение Специальной комиссии по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками военнопленных польских офицеров в Катынском лесу». Они были уверены в том, что суд автоматически, без сомнений и рассуждении, примет этот документ на основании 21-й статьи Устава МВТ, по которой Трибунал принимает «без доказательств официальные правительственные документы и документы комитетов, созданных в союзных странах для расследования военных преступлений».

Более того, советские юристы, руководимые одним из умных, юридически образованных палачей Андреем Вышинским, напрочь забыли о существовании в любом суде института защиты и права подсудимых на защиту независимо от тяжести совершенных ими преступлений. Но этого не могли забыть всегда готовые перейти в наступление и сразиться с обвинителями бдительные защитники нацистских преступников, решившие опровергнуть версию советского обвинения по Катыни.

С этой целью адвокат Геринга Штамер ходатайствовал о вызове в суд свидетелей, и Трибунал совершенно неожиданно для советских обвинителей и судей удовлетворил это ходатайство и разрешил вызов немецких свидетелей, способных доказать, что факт расстрела нацистами польских офицеров в Катыни, сообщенный советской комиссией под руководством Бурденко, не соответствует действительности.

Западные судьи аргументировали принятое в совещательной комнате большинством голосов решение вызвать свидетелей тем, что права подсудимых на защиту не могут быть ущемлены. Энергичные протесты советских судей не имели успеха. Дело кончилось тем, что Трибунал разрешил каждой из сторон вызвать в суд по катынскому делу трех свидетелей. Словесный бой советских обвинителей и немецких защитников начался.

Первого июля 1946 года мне довелось принять участие в этом сражении в скромной роли синхронного переводчика. Моя смена в этот день началась с допроса доктором Штамером главного свидетеля защиты полковника Фридриха Аренса, командира 537-го полка связи, который осенью 1941 года стоял в районе Катынского леса.

Для перевода короткие, ясные, повторяющиеся в различном словесном оформлении вопросы опытного защитника и по-военному четкие ответы свидетеля не представляли трудности, если не считать необходимости обеспечить предельную точность перевода. В данном случае каждое слово могло вызвать нежелательную дискуссию или, что еще хуже, упрек в адрес переводчика, которого главные действующие лица, когда дело принимает нежелательный оборот, превращают в козла отпущения.

И вот здесь я впервые позволю себе процитировать стенограмму допроса:

АРЕНС: Вскоре после моего прибытия один из солдат обратил мое внимание на то, что в одном месте на холмике стоит березовый крест. В это время все было занесено снегом, но я сам видел этот березовый крест. После этого я постоянно слышал от своих солдат, что здесь в нашем лесу якобы когда-то происходили расстрелы. Я чисто случайно установил, что здесь действительно находится какое-то

захоронение. Обнаружил я это зимой 1943 года в январе или в феврале.

Дело было так. Я случайно увидел в этом лесу волка. Сначала я не поверил, что это на самом деле мог быть волк. Я пошел по его следам вместе с одним знакомым человеком и увидел разрытую могилу на том же холме с березовым крестом... Врачи сказали, что это кости человека.

ШТАМЕР: Здесь утверждалось, что из Берлина якобы прибыл приказ расстрелять польских военнопленных. Знали ли Вы что-нибудь о таком приказе?

АРЕНС: Нет, я никогда ничего не слышал о таком приказе.

ШТАМЕР: Может быть, Вы получали подобный приказ от другой инстанции?

АРЕНС: Я только что сказал, что о такого рода приказе я никогда ничего не слышал, следовательно, я его и не получал.

ШТАМЕР: Были ли поляки расстреляны по Вашему указанию, по Вашему непосредственному указанию?

АРЕНС: По моему указанию не было расстреляно никаких поляков. Вообще никто не был расстрелян по моему указанию. За всю мою жизнь я не издавал таких приказов.

ШТАМЕР: Но ведь Вы прибыли (на место дислокации своего полка. — Т. С.) только в ноябре 1941 года. Слышали ли Вы что-либо о том, что Ваш предшественник полковник Беденк приказал провести такую акцию?

АРЕНС: Я никогда не слышал об этом. Я работал со своим штабом полка в самом тесном контакте. Я хорошо знал своих людей, а они знали меня. Я абсолютно убежден, что ни мой предшественник, ни вообще кто-либо из моего полка не участвовал в подобном деле. Я непременно, хотя бы по каким-то намекам, узнал бы об этом.

ШТАМЕР: Каким образом дело дошло до вскрытия могил?

АРЕНС: В подробностях я не осведомлен. Однажды ко мне явился профессор Бутц по поручению командования фронтом и сообщил мне, что в моем лесу на основании имеющихся слухов должны быть проведены раскопки и что поэтому он должен информировать меня об этих раскопках.

ШТАМЕР: Рассказывал ли Вам впоследствии профессор Бутц со всеми подробностями о результатах раскопок?

АРЕНС: Я запомнил только один польский дневник, который он передал мне. В этом дневнике следовали дата за датой, сопровождающиеся письменными заметками, но я не мог их прочитать, так как они были написаны по-польски. Дневник оканчивался весной 1940 года.

В последней записи было выражено опасение, что им предстоит что-то ужасное. Таков был общий смысл.

ШТАМЕР: Здесь утверждалось, что в марте 1943 года в Катынь были доставлены трупы и погребены в лесу. Известно ли Вам что-нибудь по этому поводу?

АРЕНС: Мне ничего об этом неизвестно.

После этого Аренса допрашивал защитник Деница Кранцбюлер. Он спросил свидетеля, говорил ли тот с местными жителями о расстреле в Катынском лесу в 1940 году. Аренс ответил утвердительно и рассказал суду, что приблизительно в мае 1943 года он говорил об этом с четой пчеловодов, которые жили рядом с могилами. Супруги сказали, что весной 1940 года на станцию Гнездово в железнодорожных вагонах привезли свыше четырехсот поляков в военной форме, которые были затем на грузовых машинах доставлены в лес. Рассказчики слышали потом стрельбу и крики.

Далее Кранцбюлер спросил свидетеля, были ли найдены какие-нибудь другие могилы в лесу, около дачи, у зданий НКВД. Аренс и на этот вопрос ответил утвердительно и сообщил суду, что это были неглубокие могилы с разложившимися трупами и рассыпавшимися скелетами. В каждой такой могиле было по шесть-восемь мужских и женских скелетов.

Настала очередь обвинения допрашивать Аренса. Его допрашивал помощник главного обвинителя от СССР Смирнов, которому было поручено ведение катынского дела. Смирнов сконцентрировал внимание на эпизоде с волком. Он интересовался главным образом толщиной земляного слоя, покрывавшего человеческие трупы. Смирнов попросил свидетеля сообщить суду, была ли толщина слоя несколько десятков сантиметров или полтора-два метра. На это Аренс ответил, что этого не припоминает. Тогда Смирнов спросил полковника, где он нашел такого волка, который сумел бы разрыть землю на глубину полтора-два метра. На это последовал ответ: «Я не нашел такого волка, я видел его!»

Два других свидетеля защиты: Рейнгарт фон Эйхборн, бывший референт по телефонной связи при штабе Группы армий «Центр», и генерал-лейтенант Оберхойзер, начальник группы связи Группы армий «Центр» — решительно отрицали существование приказа о расстреле поляков. Если бы такой приказ был, то Эйхборн должен был бы знать об этом, так как все приказы 537-му полку проходили через него. Оберхойзер, со своей стороны, указал на совершенно другие задачи полка связи и на невозможность технически провести такую массовую казнь.

После окончания моей смены я не смогла уйти и осталась в зале суда, где слушала допросы свидетелей обвинения. Казалось бы, эти допросы должны были доказать, что массовый расстрел поляков был осуществлен немецкими оккупационными властями. Присутствующие в зале суда прекрасно понимали, что в случае, если свидетелям, вызванным в суд по ходатайству советского обвинения, не удастся достаточно убедительно подтвердить своими показаниями факт массового расстрела гитлеровцами польских военнопленных в Катынском лесу осенью 1941 года, советская версия окажется юридически несостоятельной. И хотя защитники не выдвинут никакой своей версии (такого права им не дано), это чудовищное преступление XX века останется на совести сталинского руководства (если у того есть совесть!) и тень его падет на нашу Родину.

Проведенные Смирновым допросы свидетелей обвинения не дали советской стороне желаемых результатов. Бывший помощник бургомистра Смоленска Базилевский производил жалкое впечатление, к тому же Смирнов торопил его и просил не вдаваться в подробности. Видимо, он боялся, что подставной свидетель окончательно запутается.

В моей памяти запечатлелся инцидент, происшедший в начале перекрестного допроса Базилевского всё тем же Штамером. Штамер спросил Базилевского: «Вы до перерыва, как я наблюдал, читали свои показания. Верно ли это?» Базилевский ответил, что он ничего не читал и у него в руках только план размещения участников суда в зале. Второй вопрос Штамера звучал так: «Как Вы объясните, что у переводчика уже были Ваши ответы?» Базилевский ответил,

что он не знает, каким образом переводчики могли заранее получить его ответы.

После окончания перекрестного допроса американский обвинитель Додд взял слово и сообщил Председателю суда, что он направил записку переводчикам и получил ответ от ответственного за переводчиков американского лейтенанта, в котором сообщалось, что ни у одного из них не было ни вопросов ни ответов.

Штамер взял свои слова обратно, сказав, что это было сообщено ему вне зала суда. Председатель суда Лоренс указал защитникам, что они не должны делать подобных заявлений до тех пор, пока не проверят их обоснованность. На этом инцидент был исчерпан. Но сколько волнений он принес нашей дежурной переводчице, об этом история умалчивает. Нет сомнений, что она пережила тяжелые минуты, а Штамер, по свидетельству юристов, просто-напросто применил испытанный психологический прием защиты, чтобы запугать и без того робкого, неуверенного в себе и в своих показаниях свидетеля.

В конце допроса адвокат спросил Базилевского, был ли тот репрессирован за сотрудничество с немцами. На это Базилевский ответил отрицательно. На вопрос, служит ли он снова и пользуется ли уважением, свидетель дал положительный ответ. Таким образом защите вполне удалось дискредитировать главного свидетеля обвинения.

Двое других свидетелей обвинения: профессор судебной медицины Софийского университета Марков и главный судебный медэксперт Минздрава СССР Прозоровский — также не смогли достаточно обоснованно подтвердить правильность советской версии катынских расстрелов.

И что из того, что защита не ставила вопрос о том, кто расстрелял пленных поляков: мы или они? Пусть такого права защите не дано, но она доказала по этому делу несостоятельность советской версии, хотя и не приписала вину советским властям. Однако страшный вывод напрашивался сам собой и был косвенно подтвержден решением суда: «За недостатком доказательств не включать дело о катынских расстрелах в приговор Международного военного трибунала». В задачу Трибунала не входил поиск других виновных, пусть

даже в тягчайших преступлениях против человечности. Поиски эти могли бы помешать работе международного судебного процесса, который несмотря на все трудности должен был состояться, ибо этого требовало человечество, истерзанное нацистскими зверствами и долгой кровавой войной.

Что же должны были чувствовать и думать советские граждане, присутствовавшие на заседании суда в «черный день Нюрнбергского процесса»? Именно так мы, не сговариваясь, назвали день 1 июля 1946 года.

Для меня это был действительно черный день хотя я была всего лишь переводчиком в зале суда. Слушать и переводить показания свидетелей мне было несказанно тяжело, и не из-за сложности перевода, а на сей раз из-за непреодолимого чувства стыда за моё единственное многострадальное Отечество, которое не без основания можно было подозревать в совершении тягчайшего преступления.

В этом, к моему великому ужасу, и заключалась Правда, ничего кроме Правды! Для того чтобы не усомниться в этом и доказать себе правомерность столь тяжкого обвинения, мне было достаточно вспомнить очередь измученных горем родственников советских заключенных во дворе дома № 24 на Кузнецком Мосту, в которую мы вставали на рассвете. Мы дожидались, когда откроется дверь в приемную НКВД, и выслушивали трафаретные ответы дежурных энкаведистов. Протягивая в маленькое окошко в толстой зеленой стене паспорт, большинство слышало неизменный ответ: «Десять лет без права переписки». Это, как правило, означало: расстрел!

Даже самые ярые сталинисты не сомневаются, что в годы советской власти такие ответы услышали миллионы и миллионы. Они давались всеми действующими в крупных городах приемными НКВД ежедневно с 9 до 18 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Через десятилетия узнаем мы об огромных массовых захоронениях на территории СССР, но это будет потом. А пока в Нюрнберге свидетель Аренс в своих показаниях суду только упомянул о безымянных неглубоких могилах в Катынском лесу, где лежали разложившиеся трупы и рассыпавшиеся скелеты. Судя по состоянию останков, это были наши соотечественники, расстрелянные еще задолго до войны.

О наших соотечественниках в Нюрнберге не говорилось ни слова. Речь шла только об убиенных поляках, и память, которая в таких жизненных обстоятельствах почему-то отказывается нам подчиняться и, работая по своим законам, высвечивает какое-то одно событие, или чье-нибудь давно забытое лицо, заставила меня в этот день вспомнить рассказ моей мамы об участи одного молодого поляка, сына главного архитектора Варшавы (фамилии его я не помню). Он попал в Колымские лагеря вместе с тысячами своих соотечественников после «победного» вступления нашей армии в Польшу осенью 1939 года, когда нас связывала с гитлеровской Германией трогательная дружба и мы сообща ликвидировали польское государство.

Юноша умер в колымской лагерной больнице от обморожения и дистрофии. Умирая, он просил написать о его смерти в Варшаву бабушке и маме. Эту его последнюю просьбу моя мама выполнить не могла — ведь тогда она сама была заключенной и не могла написать даже своим детям! В больницу маму взяли санитаркой, по ее словам, то ли с лесоповала, то ли из вышивального цеха. Единственное, чем она могла помочь, было дополнительное питание для умирающего, которое она доставала с большим трудом. Спасти поляка не удалось. Его с фанерной биркой на ноге вместе с другими умершими заключенными опустили в братскую безымянную могилу. На бирке стоял номер личного дела... Когда мама вышла из лагеря, была война, а теперь уже вряд ли кто-нибудь из родственников юноши остался в живых!

А СУДЬИ КТО?

Что думали и чувствовали в тот «черный день» другие советские участники процесса, сказать трудно. Ведь среди них были и соучастники кровавых преступлений, совершавшихся сталинской кликой против своего собственного народа на советской земле.

Трудно поверить, что видные советские юристы, такие, как член Международного трибунала от СССР Иона Тимофеевич Никитченко, еще в гражданскую войну бывший

председателем военного трибунала, и главный обвинитель от СССР Роман Андреевич Руденко, до Нюрнберга прошедший все ступени советской прокурорской лестницы и занимавший перед поездкой в Нюрнберг пост прокурора Украины, а с 1953 по 1981 год пост Генерального прокурора СССР, и Лев Николаевич Смирнов, помощник главного обвинителя, не принимали участия в организации массовых репрессий и не отправляли ни в чем не повинных людей на смерть, в тюрьмы и лагеря.

И дальнейшая карьера упомянутых видных советских юристов была не менее знаменательна. Руденко, став вскоре Генеральным Прокурором СССР, имел на своем счету немало политических расправ, включая расстрельные приговоры рабочим Новочеркасска в 1962 году. Л. Н. Смирнов дослужился до должности председателя Верховного суда СССР.

Советский переводчик-синхронист Александр Швейцер в книге «Глазами переводчика» дает весьма меткую характеристику Смирнову, с которым его свела судьба и работа на Токийском процессе над японскими военными преступниками. Отдавая должное ораторским способностям и юридическим познаниям этого человека, Швейцер пишет: «Лев Николаевич был ярко выраженным «службистом». Его исполнительность, по-видимому, сыграла важную роль в его стремительном продвижении по службе... Верный слуга Системы, он служил ей верой и правдой и, когда Система выдвинула его на роль неправедного судьи по делу А. Синявского и Ю. Даниэля, он столь же ревностно выполнил это поручение».

Всё это так, но я не могу согласиться с утвердительным ответом моего коллеги на вопрос: был ли Смирнов искренен в своих верноподданнических убеждениях? Мне кажется, что такой умный человек не мог не осознавать того, что происходило в нашей стране, тем более что это имело непосредственное отношение к его профессиональной деятельности. У меня нет сомнения в том, что в глубине души Смирнов понимал, какую недостойную роль он, высококвалифицированный юрист, сыграл в ходе суда над писателями-диссидентами.

Список советских юристов — участников процесса в Нюрнберге, внесших большой вклад в работу Международного

военного трибунала, который впервые в истории осудил агрессию, преступления против человечества и мира, и в то же время не единожды нарушавших на своей родине принципы правосудия и права человека, можно было бы без труда продолжить. Теперь, в начале XXI века, многое, что было тайным, стало явным и легко доказуемым. Но главные действующие лица Нюрнбергского процесса уже ушли в мир иной, и тот, кто «грядет со славою судити живым и мертвым», да будет и им судьей!

Здесь, когда речь идет о людях, я не смею даже на самую малость отступить от правды. И снова, и снова я повторяю, что пишу только Правду, ничего кроме Правды. Да поможет мне Бог!

После катынского дела меня с новой силой начал мучить извечный вопрос, возникший в моем сознании еще в начале разгула нацистских и сталинских репрессий. Как это могло случиться, как люди могли принимать участие в таких злодеяниях?

Мой личный опыт, пусть это звучит наивно, глупо или заносчиво, говорил мне, что при желании в любых условиях не вдруг и не сразу, хитростью и ловкостью, тайными ходами, наглой ложью и притворством можно и должно сохранить человеческий облик и не опуститься в смрадный мир кровавых преступлений, в которые тебя пытаются завлечь или затащить нацистские или советские палачи.

Все граждане любого тоталитарного государства испытывали непреодолимое чувство страха, они могли просто оступаться и совершать неблаговидные поступки, но далеко не все продавали душу дьяволу за материальные блага и служебное положение. Речь не идет даже об активном сопротивлении или о пожертвовании жизнью. Это — удел героя, которым может стать далеко не каждый, тем более если существует угроза не только для тебя самого, но и для твоих близких. Речь в большинстве случаев идет всего лишь об отказе от привилегий, от каких-то материальных благ и блестящей служебной карьеры.

Рассмотрение Нюрнбергским трибуналом катынского дела не дало ответа на вопрос, кто убил военнопленных поляков. Но сама постановка вопроса и его детальное

обсуждение на международном уровне служат, как мне кажется, весьма весомым доказательством близости двух партийно-государственных систем и их незабвенных вождей. С тех пор прошли не годы, а десятилетия. Когда я пишу эти строки, миновало уже пять десятилетий, а секретные протоколы и катынские расстрелы не забылись, они остались в памяти на всю жизнь.

ПОДСУДИМЫЕ: КЕЙТЕЛЬ И ЙОДЛЬ

К июлю 1946 года Трибунал рассмотрел дела всех подсудимых и перешел к заслушиванию защитительных речей адвокатов и заключительных речей главных обвинителей. Далее следовало обсуждение преступных организаций и прием дополнительных доказательств обвинения и защиты. Изо всего, что происходило в зале суда, в памяти сохранились только фрагменты показаний подсудимых и многочисленных свидетелей, речей обвинителей и адвокатов. Вспоминаются отрывки представленных документов, отдельные вещественные доказательства, документальные фильмы.

Далеко не всегда это было чем-то самым главным и важным, но прошлого не возвратить. В молодости запоминается нередко то, что можно было бы забыть, и забывается то, что нужно было бы запомнить. Особенно когда речь идет о событиях исторического значения и тебе в них уготована самая скромная роль. Надо было бы многое записать по горячим следам, но в те времена такая форма фиксации событий и тем более мыслей и переживаний была, скажем так, весьма непопулярной в нашей стране. Многие граждане, всё же прибегая к такой форме, лишились из-за нее свободы. В ходу было шутливое наставление: если знаешь, то не говори, если сказал, то не пиши, если написал, то отказывайся. И большинство придерживалось этого неписаного правила, тем более находясь за рубежом, где, как нам внушали наши идеологические наставники, на каждом шагу нас подстерегали враги социалистического государства.

Итак, вновь мысленно обращаюсь к подсудимым, вглядываюсь в знакомые лица, на сей раз на большой фотогра-

фии. И сразу же память сама воспроизводит, казалось бы, забытые фрагменты и эпизоды процесса.

Рядом с поникшим Риббентропом на скамье подсудимых сидит по-военному подтянутый и весь какой-то напряженный фельдмаршал Вильгельм Кейтель. Он в военном мундире с бархатным воротником, но и в любом другом одеянии в нем сразу можно было бы узнать представителя военного сословия.

В 1938 году верховный главнокомандующий вооруженными силами Германии назначил Кейтеля начальником Верховного командования вооруженными силами и он не ошибся в своем выборе. Кейтель был ярым приверженцем фюрера. Он считал его «величайшим полководцем всех времен». Попутно отмечу, что в период войны почитатели Гитлера в устной и письменной речи постоянно величали так великого вождя. Поэтому в конце концов им пришлось, очевидно, в целях экономии времени и бумаги, пользоваться сокращением: GFaZ (Größter Peldherr aller Zeiten)

С этой словесной эквилибристикой я познакомилась на фронте и подумала тогда, что мы с нашим вождем всё же не дошли до такого идиотизма. Но недавно один мой знакомый уверял меня, что студенты МГУ в начале 50-х годов «по техническим соображениям» широко использовали в записи лекций по общественным дисциплинам сокращение ГТТС, заменявшее чересчур часто встречавшееся в лекциях выражение «гениальный труд товарища Сталина».

На заседаниях Трибунала о Кейтеле много говорилось, когда речь заходила об агрессивных акциях нацистов, о нападении на другие государства, об уничтожении военнопленных и мирного населения оккупированных стран. Кейтель, как Геринг, везде хотел успеть и, попирая честь солдата, составлял, подписывал и сам же выполнял самые бесчеловечные приказы.

Что касается его умственных способностей, то, по тогдашнему моему впечатлению, они были весьма ограничены. Не сочтите это мое столь категоричное утверждение слишком смелым для молодой девушки. Пусть оно в какой-то мере противоречит утверждению Иосифа Виссарионовича о том, что в Великой Отечественной войне мы победили умного противника.

Ну, допустим, так, но это, я думаю, не означает, что в окружении диктаторов, даже самых коварных и самых умных, не было и нет умственно ограниченных или просто глупых людей. Такие ограниченные, но преданные люди диктатору остро необходимы, и именно на ключевых постах. Доказательством тому могут служить «у них» Риббентроп и Кейтель, а «у нас» Ворошилов и Буденный.

Кейтель делал всё, чтобы оправдать доверие фюрера. На допросах он заявлял, что являлся убежденным сторонником Гитлера, который был, по его словам, гениальным полководцем, постоянно изучавшим военную литературу. В конце концов Кейтель признал, что не он поучал Гитлера, а Гитлер учил его, «будучи гением».

Свои преступные действия Кейтель объяснял тем, что фанатически следовал военному приказу и таким образом выполнял свой солдатский долг. Его показания начальника штаба ОКБ еще и еще раз невольно приводили к выводу, что диктаторам ни к чему умные, талантливые военачальники, они предпочитают им во всем покорных и не имеющих своего мнения служак.

Другим представителем верховного командования гитлеровских вооруженных сил был формально подчиненный Кейтелю генерал Альфред Йодль, возглавлявший штаб оперативного руководства вооруженными силами. Он почему-то сидел на скамье подсудимых не рядом с Кейтелем, а во втором ряду, хотя роль его в планировании и осуществлении военных операций была весьма значительной. По крайней мере внешне Иодль старался сохранить свое достоинство, несмотря на тяжесть предъявленных ему обвинений.

Иногда ему удавалось парировать утверждения обвинителей. Так, на вопрос английского обвинителя о варварской бомбардировке Белграда, в результате которой погибли тысячи мирных жителей города, Йодль заметил, что в Белграде погибло не более одной десятой части от того числа погибших, которое имело место при американской бомбардировке Дрездена. Белград бомбили в начале военных действий, а Дрезден — тогда, когда союзники уже выиграли войну.

Когда свидетель представил Йодлю документ, в котором нацистский генерал предлагал сломить сопротивление

англичан террористическими налетами авиации на населенные пункты Великобритании, Йодль признал этот факт, но тут же заявил, что англо-американская авиация осуществляла эту его мысль со значительно большим совершенством.

Помню, меня очень удивили ответы нацистского генерала на вопросы советского обвинителя Ю. В. Покровского об отношении подсудимого к Гитлеру. Йодль ответил, что действительно называл фюрера шарлатаном в 1933 году, но с течением времени убедился в том, что Гитлер не шарлатан, а «гигантская личность».

Итак, он убедился в гениальности фюрера после того, как узнал о чудовищных преступлениях, совершенных нацистами по инициативе и под руководством Гитлера. Более того, Йодль принимал самое активное участие в составлении и осуществлении планов агрессии. Что толку, что он иногда отваживался спорить с фюрером по чисто военным вопросам, оставаясь, как и Кейтель, его верным помощником и соучастником! Даже тогда, когда они, будучи всё-таки военными специалистами, раньше простых смертных пришли к выводу, что война Германией проиграна, они, вместо того, чтобы всеми силами способствовать прекращению бойни, продолжали до последнего момента гнать на фронт своих соотечественников, включая и несовершеннолетних детей.

НАШ «ЗЕМЛЯК» РОЗЕНБЕРГ

Между Кальтенбруннером и Франком в первом ряду сидел тезка Йодля заместитель Гитлера по идеологии прибалтийский немец Альфред Розенберг. По указанию Гитлера, ему надлежало быть главным теоретиком национал-социализма и заниматься идеологическим воспитанием членов НСДАП. Этот, с позволения сказать, теоретик был ярым приверженцем расовой теории, в которой главное место отводил догме о существовании расы господ. Своими писаниями он пытался превратить расовую теорию в науку и ратовал за то, чтобы «научно обоснованное» мировоззрение национал-социализма пронизывало все без исключения науки. Таким же образом у нас в СССР всё и вся пронизыва-

ло «единственно верное» учение Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина.

Впрочем, научные изыскания Розенберга в области национал-социализма в Германии и за её пределами никто не читал. Основной труд Розенберга «Миф двадцатого столетия», хотя и был издан тиражом более миллиона экземпляров, однако популярности автору не принес. Опрос, проведенный по моей собственной инициативе в 1945 году в Берлине среди немецкой интеллигенции, показал, что граждане нацистской Германии, безусловно, знали о существовании этой книги, но не имели ни малейшего представления о её содержании. Только два человека из ста ответили мне, что держали книгу в руках, но прочесть её были не в состоянии. Известно также, что Геринг назвал это произведение чепухой.

Деятельность Розенберга на идеологическом фронте не ограничивалась теоретическими изысканиями. По указанию Гитлера в 1940 году Розенбергом был создан Центральный научно-исследовательский институт национал-социалистической идеологии и воспитания, так сказать «их ИМЭЛ» — Институт Маркса-Энгельса-Ленина. Но и это не привело к повышению престижа Розенберга, и он с присущим ему рвением приступил к своим новым обязанностям на посту имперского министра по делам оккупированных восточных территорий. Поистине в любой банде ценят преданных людей и дают им отличиться не на том, так на другом задании, не на том, так на другом посту, пока какой-нибудь промах, действительный или мнимый, не приведет верного слугу к короткой и неотвратимой расправе.

В последней должности Розенберг усердно помогал формировать политику германизации, использования насильственного труда, истребления евреев и противников нацистского режима. Он принимал активное участие в разграблении восточных территорий.

В зале суда Розенберг, казалось, продолжал обдумывать идеологические основы национал-социализма, не обращая никакого внимания на сидевших с ним вместе функционеров нацистской партии. Иногда он рисовал карандашные портреты. Через много лет я прочла в мемуарах Папена,

что это были портреты вызванных в суд свидетелей. Возможно Розенберг инстинктивно классифицировал их по расовым признакам.

Когда же пришла его очередь говорить, он, защищая себя, использовал весьма распространенную и потому хорошо знакомую и нам мысль о том, что идеи национал-социализма сами по себе прекрасны, но их претворение в жизнь всячески извращалось нерадивыми исполнителями. Остается загадкой, где же отцу-основателю нацистской идеологии удалось отыскать в этой идеологии какую-нибудь прекрасную идею!

Больше у меня не осталось в памяти об Альфреде Розенберге ничего, если не считать маленького переводческого эпизода. Дело в том, что на процессе, как я уже говорила, синхронным переводчикам разрешалось переводить только на родной язык. Поэтому Розенберг слушал в наушниках перевод с русского на немецкий, осуществлявшийся его соотечественниками. Всё шло своим чередом. И вдруг подсудимый сорвал с головы наушники и, повернувшись в сторону нашего переводческого «аквариума» громко и сердито, так, чтобы мы слышали, сказал, обращаясь к немецкой переводчице на хорошем русском языке: «Не картины с изображением Бога — Gottesbilder, а иконы — Ikonen, матушка!» И, хотя из биографии Розенберга нам было известно, что он родом из Прибалтики и даже успел после революции поступить в советское высшее учебное заведение, но всё же внезапность замечания, да еще на безупречном русском языке произвела на переводчиков шоковое действие.

Я уже не говорю о виновнице происшествия, симпатичной молодой немецкой переводчице, которая, очевидно, просто перестаралась и, стремясь онемечить текст, использовала в синхронном переводе с детства знакомое ей слово «Gottesbild». Напомню, что картины на библейские сюжеты — обязательный атрибут интерьера немецкой семейной спальни, но они не являются священными предметами или Божьими образами, подобно русским иконам. Всё тут же уладил всегда спокойный и доброжелательный «Мистер Пиквик», то бишь председатель суда Лоренс. Он прервал заседание, и

немецкая переводчица была заменена советским переводчиком, который легко справился с иконами и всем тем, что за ними на допросе главного немецкого идеолога последовало.

МЫСЛИ О ТОМ, ОТКУДА БЕРУТСЯ ПРЕСТУПНИКИ

Как мне хотелось бы вот здесь поставить точку в моем рассказе о подсудимых. Признаюсь, что писать о них мне становится всё трудней. Я мысленно, уходя в прошлое, как бы иду по грязной дороге, которой нет конца... Нет конца, потому что нет ответа на всё тот же мой излюбленный вопрос: как это могло случиться? Как эти читающие, пишущие и говорящие порой на нескольких языках люди, имевшие жен и детей, могли безоглядно и даже с каким-то упоением в течение долгих лет творить самые тяжкие преступления, оставаясь верными своему повелителю до самого или почти до самого его бесславного ухода из жизни?

Что заставляло их поступать так, а не иначе? И разве не могли бы они хотя бы в мыслях противиться содеянному, испытывать знакомые каждому человеку угрызения совести и там, где это было возможно без риска для жизни и каких-либо других нежелательных последствий, стремиться помочь ни в чем не повинным жертвам режима, пытаться предотвращать преступления или уклоняться от участия в них? Полное отсутствие какого-либо раскаяния, чудовищное бесчувствие к страданиям своих жертв, невероятная способность пренебрегать элементарными требованиями чести и совести у проходивших перед лицом высокого Суда марионеток дьявола и в те дни и до сей поры оставляют в моей душе чувство тягостного недоумения. И я вновь и вновь задаю свой вопрос: «Как? Как они это могли?»

Я знаю, что мне на это скажут: «Жалкий лепет, полное отсутствие научного подхода, незнание обстановки...» Нет! — отвечу я. Мы это сами прошли, это и наш жизненный опыт. Мы — это сотни и тысячи советских и немецких граждан, находившихся на различных ступенях социальной лестницы.

Пусть героями были единицы. О них написали и еще напишут книги. Честь им и хвала! Но и тихие, не требующие геройства формы несогласия и протеста, свидетельствующие

об определенном мужестве человека, возможны и, главное, нужны обществу в трудные годы его существования. Внутреннее сопротивление тоже может быть сильным. Оно находит отражение в повседневной работе и жизни граждан. Сколько бывших политических заключенных ГУЛАГа было спрятано в дореволюционных платяных шкафах во время ночных проверок документов в Москве и других городах. Сколько посылок послано чужим людям в лагеря, сколько писем передано. Сколько тайных добровольных пожертвований собрано.

А сколько переправлено арестантам денег, денег, нередко «насильственным образом» отобранных у тех, кто остался на свободе, но, отказавшись от своих бывших арестованных друзей, не только не оказывал им помощи, но и боялся даже тайной встречи с их несчастными родственниками! Тогда еще не знали на Руси слова «рэкет», но в некотором своеобразном виде это явление уже существовало на практике и в данном случае преследовало благородные цели. Пребывавшие в состоянии беспредельного страха бывшие «друзья» арестантов безропотно выкладывали требуемые суммы денег с одним условием — чтобы об их былой дружбе с «врагами народа» никто никогда не узнал.

Сколько рукописей и книг удалось сохранить в личных и государственных научных библиотеках! Последние чуть ли не каждый месяц получали длинный список книг, которые надлежало изъять из фондов и уничтожить. Но, слава тебе, Господи, существовала «крепостная» расстановка библиотечных фондов, при которой достаточно было переставить книгу в хранилище с закрепленного за ней шифром места на другое, даже на том же стеллаже, чтобы уберечь произведение «врага народа» от гибели. А для тайного хранения рукописей опальных авторов наиболее безопасной обителью были столы библиотекарей в тех же научных библиотеках. Так, одно время в Библиотеке иностранной литературы хранилась рукопись «Архипелага ГУЛАГа», о чем, если мне не изменяет память, в «Телёнке», который «бодался с дубом», пишет Александр Исаевич Солженицын.

И в нацистской Германии далеко не весь народ безропотно покорился фюреру и нацизму. Кроме продуманных геройских акций, которые подробно описаны в статьях и книгах, и здесь

существовали различные формы «тихого» протеста. О них мы знаем не только из послевоенной немецкой научной и художественной литературы. О них мне и моим соотечественникам рассказывали немцы Восточной и Западной Германии, советские военнопленные, которым чудом удалось спастись от смерти в немецком плену, мужчины и женщины, угнанные подсудимым Заукелем на рабскую работу в Германию.

В 1962 году во дворе нашего дома в Казарменном переулке я случайно познакомилась со скромным мужественным человеком, служившим во время войны в немецкой охране штрафной рабочей команды советских военнопленных в городе Лейпциге. Он помогал, как мог, этим несчастным. Одного из них он даже тайно водил к своему приятелю Рёделю слушать советские радиосводки из Москвы. Когда же на них кто-то донёс высшему военному начальству, друзьям удалось избежать самых страшных последствий благодаря помощи еще одного немецкого офицера, который хотя и сказал: «Я мог бы вас направить на виселицу», но не сделал этого! И вот, после долгой разлуки друзья вновь встретились в Москве, куда бывший немецкий охранник приехал по приглашению своего русского друга, нашего соседа, за это время успевшего, как и тысячи других советских военнопленных, девять лет промучиться в ГУЛАГе. Воистину сюжет для пера Варлама Шаламова!

Число подобных примеров я могла бы умножить, но это уже другая тема. А тех читателей, которые убеждены в том, что в Советском Союзе и в нацистской Германии все без исключения дружно и искренне кричали «Ура! Да здравствует Сталин» или, соответственно, «Хайль Гитлер!», мне всё равно не переубедить. Они останутся при своем мнении и вряд ли поверят, что именно в те годы и произошел раскол советского общества, который до сих пор дает о себе знать.

ЮРИСТ ФРАНК

Как ни трудно мне после всего, что только что вспомнилось, но приходится мысленно вновь возвращаться в зал Нюрнбергского суда, где меня ждет теперь Ганс Франк, глав-

ный юрист нацистской Германии, адвокат, защищавший нацистов в судах еще до прихода Гитлера к власти.

После 1933 года и до самого краха гитлеровской империи он с еще большим рвением демонстрировал свою преданность Гитлеру, пытаясь подвести правовую основу под преступные планы и действия нацистской клики. Именно об этом многократно говорилось в суде, когда рассматривалось дело Франка. В газетах и журналах того времени немало писали об этом подсудимом, перечислялись многочисленные официальные должности, которые он занимал с 1933 по 1945 год. Он был и членом рейхстага, и имперским комиссаром по координации юстиции, и президентом некой Международной палаты права, и президентом Академии германского права. Но его подлинный талант, талант уголовного преступника, особенно ярко проявился на посту генерал-губернатора оккупированных польских территорий.

Именно на этом посту он совершил чудовищные преступления. И это уже не была теория — это была самая активная практика. Это была практика нарушения всех правовых норм и законов. А ведь он как юрист должен был отдавать себе в этом отчет.

Мне скажут, что всему виной собачья преданность фюреру, характерная для большинства подсудимых. Да, это так! Но у Ганса Франка была одна особенность, точнее страсть, отличавшая его от прочих главных нацистских преступников. Многие из них, как известно, в тюрьме или после выхода из нее писали дневники, которые были потом опубликованы, однако Франк опередил их всех.

Генерал-губернатор Польши начал вести дневник, можно сказать, с первых дней своего губернаторства, с октября 1939 года в Лодзи, продолжал вести его в Кракове до середины января 1945 года и закончил его уже после своего бегства из Кракова в Германии в апреле 1945 года. Франк не расставался со своим дневником даже в критические моменты жизни. Он взял его с собой и тогда, когда ему пришлось бежать из генерал-губернаторства и искать пристанища в Баварии, куда он и привез, по его собственному свидетельству, 43 увесистых тома, из которых в Нюрнберг было доставлено 38 томов (пять были утеряны).

В этих томах — протоколы заседаний, партийных собраний НСДАП в генерал-губернаторстве и, наконец, дневник самого генерал-губернатора. Все документы напечатаны на машинке, протоколы заседаний снабжены списками присутствующих с их личными подписями. Документы относятся к 1939—1945 годам. К дневнику составлен подробнейший предметный указатель в четырех томах (sic!).

Немецкая аккуратность на сей раз облегчила работу обвинителей на Нюрнбергском процессе. Оставалось только еще раз показать подсудимому два больших ящика, чтобы он, проверив их содержимое, подтвердил американским представителям, что в них действительно находится написанный им дневник. Франк удостоверил не только это, но и соответствие истине всего того, что было им написано.

Кто знает, понимал ли подсудимый, что в дневниках и во всех представленных им же документах содержится его смертный приговор? Такой приговор неминуемо должен быть вынесен человеку, который совершенно сознательно и в течение многих лет совершал чудовищные преступления и, будучи юристом, не только оправдывал свои кровавые деяния, но и юридически их обосновывал и считал правомерными, более того — необходимыми.

Отдаю себе отчет, что мои рассуждения о преступлениях подсудимого Франка, о его виновности и о справедливости приговора могут быть восприняты как эмоции дилетанта, сугубо личные впечатления молодой еще женщины, не знавшей жизни людей, населяющих Землю. Но разве выдержки из многотомного дневника Франка, приобщенные к материалам процесса не служат убедительным и неопровержимым доказательством вины подсудимого, тем более, что все они подтверждены самим Франком? Эти материалы рассматривались как предъявленные обвинением официальные документы, их можно прочесть в книге представителя Польши в Международном военном трибунале Станислава Пиотровского*. Мне тогда казалось, да и теперь кажется, что больших доказательств жестокости и преступности человека быть не может. Позволю себе поэтому привести

---

* Piotrowski S. Hans Franks Tagebuch. Warszawa, 1963.

некоторые из записей Франка в надежде, что читатели со мной согласятся.

Сначала о судьбе «чужих народов»:

«...Беспощадная борьба за достижение поставленных нами целей продолжается. Вы видите, как работают государственные учреждения, вы видите, что они ни перед чем не останавливаются, десятки самых разных деятелей ставятся к стенке. И это необходимо, ибо простая мысль подсказывает нам, что не наша задача жалеть кровь чужих народов, когда льется лучшая немецкая кровь».

«Если бы я захотел расклеить плакаты, сообщающие о расстреле каждого поляка (а это каждый седьмой поляк!), всех лесов Польши не хватило бы для производства плакатной бумаги».

«Мы должны понять, что смысл этой войны в том, чтобы естественным путем увеличить жизненное пространство нашего народа».

«Что касается еврейского вопроса, то я скажу лишь одно: эту проблему мы решаем. Ни один еврей больше не направится в Германию».

«До 1939 года этому поганому народу здесь привольно жилось. А где теперь эти евреи? Их почти не видно, а если их кто и увидит, то всегда занятых работой».

«В остальном мы можем в ближайшие годы продолжать поставлять рабочую силу в рейх и превысить цифру в 140 000 рабочих. Наша цель — постепенно охватить, несомненно, имеющиеся в деревнях и маленьких труднодоступных поселках пригодные для работы праздношатающиеся человеческие резервы. В следующем году вы можете рассчитывать на дальнейший приток рабочей силы из генерал-губернаторства, так как для отправки мы будем использовать полицию».

«Сама мысль о возможности восстановления для поляков польского государства — безумие... Я заявляю, что для фюрера и для немецкого народа все дела, связанные с Польшей и польским народом, уже решены и что нас не интересуют нереалистичные дебаты, которые, возможно, будут вестись по поводу прошлого во всем мире... Эта земля — наша и останется нашей навеки».

Франк никогда не забывает провозгласить славу своему любимому фюреру и поклясться в верности национал-социализму:

«С 1920 года я посвятил себя служению национал-социалистической рабочей партии Германии. Я был, есть и остаюсь юристом, последовательным защитником национал-социалистического периода борьбы».

«Я с Гитлером уже 25 лет. В тяжелые времена мы всегда вместе».

«Национал-социализм Адольфа Гитлера жив, лицо фюрера обращено к Солнцу, и мы, старые бойцы, в его услужении. Мы просим его: „Фюрер, защити блюстителя права!"».

«Мы победим потому, что у нас есть Адольф Гитлер. Такой человек встречается в истории только один раз в 10 000 лет. Адольф Гитлер неповторим. Он не Кай Юлий Цезарь и не Наполеон Бонапарт! Было бы вообще неправильно сравнивать его с какой-либо исторической личностью. У него нет предшественников среди государственных деятелей всего мира».

Франк в конце концов знал заранее, что за их дела всей его шайке нет прощения, но, видимо, рассчитывал на другой исход войны, о которой он писал:

«В этой войне прекрасно то, что взятое нами однажды мы уже никогда не отдадим».

«Эта война — не какая-нибудь ошибка руководства. Нет, эта война предначертана нам судьбой. Война — это необходимость, и она открыла нам дорогу в мир свободы!»

«Хочу подчеркнуть, что мы не должны проявлять щепетильность, когда слышим о 17 000 расстрелянных. Эти расстрелянные — тоже жертвы войны. Давайте вспомним, что все мы фигурируем в списке военных преступников у господина Рузвельта и, таким образом, являемся сообщниками перед лицом мировой истории!»

С этим заключением подсудимого Ганса Франка нельзя не согласиться, а к выдержкам из его дневника можно ничего не добавлять, разве только одно. Даже добрый христианин, читая леденящие душу излияния Франка, невольно подумает, что их автора можно и должно повесить.

ФРИК, ФУНК И ЗАУКЕЛЬ

Подсудимые Фрик и Функ почти не сохранились в моей памяти. Они, как и другие руководящие нацисты из окружения Гитлера, занимали каждый по нескольку должностей и были безвольными и бесцветными исполнителями воли фюрера.

Адвокат Фрика, занимавшего в течение 10 лет пост имперского министра внутренних дел, а затем назначенного протектором Богемии и Моравии, отказался от допроса своего подзащитного. А Функ на допросах, которые вели обвинитель от США Додд и обвинитель от СССР Рогинский, избрал тактику отрицания всех предъявленных ему обвинений, даже в тех случаях, когда они подтверждались документальными доказательствами и свидетельскими показаниями сотрудников Рейхсбанка, президентом которого Функ был начиная с 1939 года.

Мне запомнился только последний вопрос Рогинского, предъявившего подсудимому статью «Вальтер Функ — пионер национал-социалистического мышления», опубликованную в газете «Das Reich» в 1940 году в связи с пятидесятилетием Функа. Последний абзац этой статьи звучит следующим образом: «Вальтер Функ остался верен себе потому, что он был, есть и будет национал-социалистом, борцом, посвящающим все свои труды победе идеалов фюрера»*.

Процитировав эту напыщенную тираду, Рогинский спросил, признает ли подсудимый Функ правильность оценки своей личности и деятельности, которые даны в статье.

«В общем и целом — да», — скромно ответствовал Функ.

У обвинителя больше не было вопросов.

К последней паре подсудимых примыкает в моей памяти коренастый лысый Фриц Заукель — генеральный уполномоченный по использованию рабочей силы, поставщик рабочих для военной промышленности и сельского хозяйства нацистской Германии. По приказу этого работорговца

---

* Рогинский М. Ю. Нюрнберг: перед судом истории. М., 1986. С. 104—105.

миллионы молодых людей, жителей оккупированных территорий, были насильственно угнаны в рейх на каторжные работы.

Я-то знаю, как страдали не только угнанные, но и их матери, отцы, дедушки и бабушки. На Украине местные жители научились ненавидеть не только немецких оккупантов, но и полицаев, которые нередко были уроженцами тех же деревень и даже родственниками угнанных. Родство и свойство не мешали полицаям загонять своих племянников и племянниц в товарные эшелоны, отправляющиеся в Германию. Об этом рассказывала мне после войны моя старая няня Матрена Евстафьевна Деревянченко.

Матрена Евстафьевна появилась в нашей семье еще до моего рождения, в 1922 году стала полноправным членом нашей семьи, выручала, если не спасала, нас, детей, в самые трудные годы и была связана с нами до самой своей смерти в начале 80-х годов. В ее родной деревне Никитовке (в Донбассе) уже в мирное время не здоровались и не разговаривали с вернувшимися из советских лагерей после отбытия десятилетнего срока бывшими полицаями. Впервые за всю свою историю деревня, в которой 70% жителей испокон веку носили фамилию Деревянченко, опознала в своей среде предателей и не простила их.

На допросах и в последнем слове Заукель уверял, что он непричастен к преступлениям нацизма, что он ничего не знал о существовании концентрационных лагерей и даже проявлял заботу об иностранных рабочих. Всё это была ложь, опровергаемая документами и свидетельскими показаниями.

КАК Я БЫЛА ЗАУКЕЛЕМ

Допрос Заукеля заместителем главного обвинителя от США Томасом Доддом пришелся на мою смену. Я сидела в нашем «аквариуме» вместе со своими двумя коллегами, один из которых переводил с английского на русский Додда, я переводила с немецкого на русский Заукеля. Третий переводчик с французского молчал, так как ему переводить было нечего.

Я сидела рядом с английским переводчиком и мы, как всегда, пользовались одним маленьким переносным микрофоном, по мере надобности передавая его друг другу.

Надо иметь в виду, что допрос Заукеля происходил в конце мая 1946 года. К этому времени ежедневный синхронный перевод в зале суда дал переводчикам возможность накопить определенный опыт и привыкнуть к условиям работы. Поэтому в тот майский день, который мне было суждено запомнить на всю жизнь, всё, что касается перевода, шло своим чередом. Переводчики в данном случае не испытывали никаких трудностей, если не считать обычного напряжения, к которому привыкнуть нельзя.

Казалось, ничто не предвещало каких-либо неожиданностей, хотя мы и должны были их ожидать, как и любой переводчик, в особенности синхронный, который должен уметь преодолевать затруднения незаметно для окружающих.

Но именно на допросе Заукеля обвинителем Доддом случилось нечто невероятное и необъяснимое. Подсудимый разволновался и стал кричать, что он ни в чем не виноват и что его обманул Гитлер, что он всегда был идеалистом, защищающим справедливость.

А Додд представлял суду и Заукелю все новые и новые доказательства виновности подсудимого, и упрямство последнего разбудило в обвинителе праведный гнев. Возмущенный упорным отрицанием Заукеля перед лицом неопровержимых доказательств его бесчеловечности и жестокости по отношению к иностранным рабочим, американский обвинитель жестко и безапелляционно бросил в лицо Заукелю: «Вас надо повесить!»

Заукель в ответ закричал, что его не надо вешать, что он сам честный рабочий и моряк.

Такой эмоциональный диалог невольно захватил нас с коллегой. Всё это мы исправно и быстро переводили, и перевод бесперебойно поступал в наушники сидевших в зале русскоязычных слушателей.

И вдруг с нами произошло что-то непонятное. Когда мы очнулись, то, к своему великому ужасу, увидели, что мы вскочили с наших стульев и, стоя в нашем переводческом аквариуме, ведем с коллегой громкий резкий диалог, под стать

диалогу обвинителя и подсудимого. Но мало этого: я почувствовала боль в руке. Это мой напарник крепко сдавил мою руку выше локтя и, обращаясь ко мне столь же громко, как и взволнованный обвинитель, только по-русски, повторял: «Вас надо повесить!» А я вся в слезах от боли в руке вместе с Заукелем кричала ему в ответ: «Меня не надо вешать! Я — рабочий, я — моряк!».

Все присутствующие в зале обратили к нам свои взоры и следили за происходящим.

Не знаю, чем бы это кончилось, если бы не председатель суда Лоренс, добрым взглядом мистера Пиквика смотревший на нас поверх своих съехавших на кончик носа очков. Не долго думая, он спокойно сказал: «Что-то там случилось с русскими переводчиками. Я закрываю заседание».

Всё обошлось как будто бы без последствий, если не считать синяка на моей руке. Однако вскоре мне по секрету сообщили, что кто-то из недремлющих проинформировал представителей компетентных органов, что я проявила сочувствие к подсудимому Заукелю и даже оплакивала его судьбу. Сведения были верными, однако никаких оргвыводов из этого доноса не последовало. А я старательно демонстрировала свои синяки — истинную причину моих горьких слез.

Чтобы совсем покончить с этим случаем и отдать долг справедливости ушедшему от нас автору доноса, скажу, что за несколько дней до своей смерти, последовавшей через много лет в Москве от тяжелого заболевания, этот человек позвонил мне. Умирающий попросил у меня прощения за свою «ошибку». Бог его простит, раз у него хватило решимости покаяться.

ДВА АДМИРАЛА

Во втором ряду на скамье подсудимых первыми сидели два гроссадмирала: Карл Дениц и Эрих Редер. Как и другие приближенные Гитлера, каждый из них сделал блестящую карьеру, дослужившись до высших чинов и должностей в военно-морском флоте.

Подсудимый Дениц, пожалуй, добился наибольших успехов. За десятилетие с небольшим прошел он путь

от главнокомандующего подводным флотом до главнокомандующего военно-морскими силами Германии и, наконец, до поста преемника Гитлера как главы германского правительства.

На этом пути, по его собственным словам, у него не возникало сомнений в гениальности Гитлера, которого Дениц считал спасителем Германии после ее поражения в первой мировой войне. За это гроссадмирал был благодарен фюреру и даже демонстративно преклонялся перед ним, выказывая ему абсолютную преданность, что нашло выражение в стремлении Деница всячески приобщить военных моряков к национал-социализму и довести до совершенства подводный флот Германии. Именно подводным лодкам Дениц и его предшественник на посту главнокомандующего военно-морскими силами Германии Редер отдавали предпочтение, считая, что эта ударная сила в состоянии сыграть решающую роль в достижении победы любой ценой. Дениц лично отдавал приказания не предпринимать никаких попыток спасать пассажиров и членов команд потопленных кораблей, даже когда речь шла о торговых или госпитальных судах или пароходах, на которых эвакуировались женщины и дети.

Когда Деница допрашивал заместитель главного обвинителя от СССР Ю. В. Покровский, на меня нахлынули грустные и даже трагические, тогда еще довольно свежие воспоминания. Отвечая на вопросы, подсудимый признал, что именно он в своем обращении к германскому народу и в приказе немецким войскам от 30 апреля 1945 года потребовал продолжения военных действий, назвал трусами и предателями всех немцев, готовых прекратить сопротивление и сложить оружие.

Я почувствовала глубокую неприязнь к этому внешне блестящему военно-морскому офицеру высшего ранга, так бесчеловечно воспользовавшемуся своим весьма краткосрочным правом распоряжаться судьбами соотечественников. Совершенно чуждое моему лексикону слово «гадина» вдруг пришло мне в голову вместе со страшной картиной гибели моих товарищей в последнем, уже «послевоенном» сражении Советской армии с остатками вермахта под командованием фельдмаршала Шёрнера.

Мы на 4-м Украинском фронте праздновали Победу, весть о которой в буквальном смысле слова спустилась к нам

с небес. Советские летчики сбросили нам вряд ли предназначенные для нас листовки на немецком языке, из которых мы узнали, что Германия капитулировала и что военные действия прекращены на всех фронтах. Бойцы 38-й армии ловили эти маленькие листочки, а я громким голосом переводила их, чтобы все вокруг слышали. Я раздавала эти листовки откуда-то пришедшим чешским женщинам и мы вместе смеялись и плакали в одно и то же время.

Радости, казалось, не будет конца. И вдруг где-то рядом ухнули тяжелые орудия. Наш «старик», солдат 45-ти лет от роду, попытался нас успокоить, уверяя, что это расстреливают неиспользованные снаряды, чтобы не везти их домой. Если бы!

Вокруг всё гремело. Казалось, само небо вот-вот расколется и земля разверзнется под ногами. Начался настоящий тяжелый бой. Тяжесть его усугублялась тем, что каждый из его участников от генерала до рядового осознавал, что вот это и есть тот самый действительно последний бой.

Кажется, Шекспир писал: «У цели потонуть — есть смерть двойная». Все павшие в этой последней битве второй мировой в Европе приняли двойную смерть.

В Нюрнберге мне суждено было узнать, что подсудимый Дениц не только не воспрепятствовал продолжению бессмысленной гибели здоровых молодых людей, а, напротив, апеллируя в своем последнем приказе к чести и совести (к чести и совести!!!) солдат, потребовал от них дальнейшего сопротивления противнику и тем самым просто-напросто толкал их к гибели. Сотни моих соотечественников и соотечественников Деница пали в этом последнем сражении.

Товарищ Сталин в своем обращении к народу 9 мая 1945 года упомянул мимоходом, что одна группа немецких войск в Чехословакии всё еще уклоняется от капитуляции и высказал надежду, что Красной армии удастся привести ее в чувство. Так советский генералиссимус изволил высказаться о последней кровопролитной битве этой войны.

Что же касается немецких и советских генералов и военных историков, то они, как правило, предпочитают обходить это событие молчанием или, в лучшем случае, объяснять его стремлением фельдмаршала Шёрнера пробиться в плен к американцам. Рядовым участникам битвы это, возможно,

было неведомо, но зато им было точно известно, что гибли они уже после войны.

Рядом с Деницем на скамье подсудимых сидел его предшественник на посту главнокомандующего военно-морскими силами Германии Эрих Редер. По характеру он не был похож на своего соседа. Мне показалось, что он значительно умней Деница и не такой ярый приверженец национал-социализма, как его коллега. Редер дважды подавал в отставку и лишь в начале 1943 года получил ее, но до конца рейха был адмирал-инспектором ВМФ и личным советником Гитлера.

В свое время он всеми силами развивал и укреплял военно-морской флот гитлеровской Германии, готовил его к осуществлению агрессивных планов фюрера. Более того, он был инициатором вторжения в Норвегию, рекомендовал Гитлеру агрессивную политику на Средиземном море и усиление военных действий против Англии, а в 1941 году настаивал на оккупации всей Греции.

Упоминаемые на процессе тяжкие преступления подсудимого произвели на меня тогда удручающее впечатление. Меня потрясало потопление немецкими подлодками невооруженных торговых судов нейтральных государств при демонстративном непринятии мер к спасению уцелевших после гибели корабля. Несчастных тонущих людей не только не спасали — порой их расстреливали прямо на плотах из пулеметов. Таковы были действия военных моряков Германии под командованием Редера и согласно его приказам!

Лишь в марте 1945 года, увидев на руках своего друга Гесслера следы пыток, Редер бросил в озеро свой золотой значок нацистской партии, которым фюрер награждал особо отличившихся приближенных. Что-то похожее на прозрение пришло к подсудимому слишком поздно.

ГЛАВА «ГИТЛЕРЮГЕНДА» БАЛДУР ФОН ШИРАХ

Между Редером и Заукелем во втором ряду сидел Бальдур фон Ширах, с 18 лет исправно служивший нацизму на всех своих служебных постах. Главным полем его неутомимой деятельности было воспитание немецкой молодежи в духе

национал-социализма. На этом поприще он трудился не щадя живота своего, широко применяя как методы пропаганды, так и методы насилия. Возглавляемая им молодежная организация «Гитлерюгенд» была превращена в источник пополнения армии и СС.

В «Гитлерюгенд» проводилась допризывная подготовка молодежи, причем особое внимание обращалось не только на военную, но и на идеологическую муштру в духе национал-социализма. Подчеркивалось предназначение германской молодежи — умереть за Гитлера.

Плохую службу Шираху сослужила во время его допроса представителями обвинения написанная им книга «Гитлерюгенд», которая вышла в 1934 году. В ней как нельзя более убедительно подтверждались предъявленные подсудимому обвинения. Молодежь исполняет лишь волю фюрера, «Мейн Кампф» — библия для молодых немцев. Такими откровениями полон труд Шираха.

Под воздействием этих высказываний Шираха моя память в зале суда высветила поразившую меня в годы отрочества весть о том, что мой любимый писатель Кнут Гамсун приветствовал нацизм и был в восторге от нацистской системы воспитания. Я долго не могла поверить, что автор «Пана» и «Виктории» стал жертвой нацистской пропаганды. Но спустя годы, прочитав в случайно попавшей мне в руки немецкой газете статью о знаменитом норвежце, мне пришлось убедиться в этом. В этой статье был приведен текст телеграммы, в которой писатель благодарит, кажется, самого Гитлера за образцовое воспитание дисциплинированной здоровой молодежи.

Интересно бы узнать, о чем думал, что писал и говорил Кнут Гамсун, когда полчища этой образцово обманутой и духовно искалеченной молодежи заливали кровью Европу? Неужели и такой писатель, как он, научился замечать лишь то, что хочется, и видеть лишь то, что внушил сам себе?

Что касается главного воспитателя гитлеровской молодежи, то он признал свою вину «перед Богом и немецким народом», заявив Трибуналу, что воспитывал молодежь для человека, которого долгие годы считал вождем страны и который на деле был убийцей, погубившим миллионы людей.

«СТАРИКИ»

Следующая группа, которую я мысленно выделяла тогда из числа подсудимых, были «старики», верные приспешники Гитлера, примкнувшие к нему уже будучи на вершине своей политической карьеры.

Как известно, Трибунал вынес Францу Папену, добровольно уступившему Гитлеру пост рейхсканцлера и способствовавшему захвату Австрии, оправдательный приговор.

Артур Зейс-Инкварт, один из главарей нацистской партии Австрии, имперский наместник этой страны в 1938—1939 годах, заместитель генерал-губернатора Польши и наместник в Нидерландах, был приговорен к смертной казни через повешение.

И, наконец, Константин фон Нейрат, в 1932—1939 годах занимавший пост министра иностранных дел нацистской Германии и затем пост протектора Богемии и Моравии, был приговорен к 15 годам тюремного заключения.

Всё это можно прочесть в опубликованных материалах процесса, в многочисленных книгах и статьях, ему посвященных. Но вряд ли вы прочтете во всех этих печатных источниках, почему представители старшего поколения, материально обеспеченные люди, стали послушными прислужниками Гитлера, более того — его почитателями и участниками его нечеловеческих преступлений.

На этот вопрос не дали ответа и сами подсудимые. Ответа на него не найти и в статьях и книгах. Судите сами. На допросе Папен заявил, что считал Гитлера «самым большим мерзавцем, которого когда-либо видел в своей жизни». Однако это не помешало подсудимому в письме к мерзавцу, написанном в июле 1934 года, заверить фюрера в том, что он «всецело предан» Гитлеру и «его деятельности на благо Германии». Во всех последующих письмах, которые цитировал в суде допрашивавший Папена заместитель главного обвинителя от Великобритании Максуэлл-Файф, подсудимый высказывал верноподданническое восхищение фюрером. И это происходило тогда, когда Папену были точно известны преступления нацистов. Многие его друзья и сотрудники стали

жертвами нацистских убийц. Но ведь сам-то он не стал! Неужели так проста разгадка явного несоответствия высокого интеллектуального и низкого морального уровня пособника убийц?

И он всё же продолжал не только «сочувствовать», но и явно содействовать нацистским главарям. Мне очень трудно судить, прав ли был Трибунал, оправдав господина Папена. Может быть, по-своему и прав, решив предать его суду Бога, Истории и собственной совести.

Зейс-Инкварт, адвокат, получивший юридическое образование и звание доктора права на юридическом факультете Венского университета в 1917 году, не только не задавал себе вопроса о юридической правомерности действий нацистов в Австрии, Нидерландах и Польше, но и стремился на всех постах выполнить и перевыполнить гитлеровские планы полного порабощения народов этих стран. Не кто иной, как Зейс-Инкварт, был организатором захвата Австрии, верным помощником подсудимого Франка в Польше, принимал активнейшее участие в разработке и осуществлении акции АБ, предусматривавшей казнь тысяч польских интеллигентов.

С таким же усердием в Богемии и Моравии действовал в интересах немецкого рейха Константин фон Нейрат. На совести протектора этих территорий тысячи убитых и замученных в концентрационных лагерях мирных граждан Чехословакии. В этой красивой и гостеприимной стране я встретила конец войны. И чехи, празднуя освобождение, восторженно приветствовали своих освободителей, неся их на руках по Вацлавской площади.

Но во время допроса подсудимого Нейрата мне припомнилось, как чехи преследовали немецких женщин, которые устремились ко мне, ища защиты у советского офицера. Когда подоспели преследователи, оказалось, что в руках каждого из них были ножницы, которыми они собирались безо всякой жалости выстричь у представительниц немецких оккупантов куски волос на темени. Так они метили своих мучителей, которые без малого семь лет тиранили и унижали чешский народ.

В оправдание своих действий чехи продемонстрировали мне объявления на оградах парков и на дверях магазинов.

В этих объявлениях крупными буквами по-чешски было написано: «Чехам вход воспрещен!»

Тогда, в мае 1945 года, в первый день без войны, мне удалось избавить немецких женщин от бессмысленного ответного унижения. Но, вспомнив эту историю во время допроса Нейрата, я подумала, что «стрижка по-чешски» ни в какое сравнение не идет с теми жестокими акциями, которые планировались и осуществлялись в Богемии и Моравии с ведома и под руководством Нейрата.

Чего стоят, например, рассуждения подсудимого по поводу будущего оккупированных территорий в меморандуме, представленном им фюреру летом 1940 года. В этом документе гитлеровский протектор ничтоже сумняшеся заявлял, что «цель может быть только одна — окончательное объединение Богемии и Моравии с великой Германской империей... Эти территории следует заселить немцами».

Для окончательного решения данной проблемы Нейрат предлагал выделить тех чехов, которые могут быть подвергнуты германизации, и оставить их в стране. Тех же, кто не подходит с расовой точки зрения, или является врагом империи, — безжалостно выслать. Особенно беспощадно Нейрат рекомендовал расправиться с интеллигенцией, саботирующей введение в Чехословакии нового порядка. Протектор считал, что всех интеллигентов-саботажников надо изгнать. Но и этого ему показалось мало. И он предложил возложить ответственность за акты саботажа на всё чешское население. Таким образом, Нейрат распространил наказание на ни в чем не виновных граждан, что и послужило началом массового террора против чешского народа.

С расстрелами заложников, истреблением и насильственной высылкой людей с родной земли нельзя примириться! Подробности осуществления нацистами политики геноцида мне довелось узнать в Нюрнберге. О геноциде говорили обвинители и свидетели, о нем шла речь на допросах подсудимых, в частности подсудимого Нейрата, который был одним из разработчиков планов онемечивания оккупированных территорий.

Помню, что ответы Нейрата вызвали у меня чувство острой неприязни по отношению к этому немецкому

«интеллигенту» старшего поколения. После всего, что я услышала, слово «интеллигент» обязательно надо взять в кавычки, когда применяешь его к такому человеку. С виду — аккуратен и благопристоен, но его показания и предъявленные обвинителями документальные доказательства свидетельствовали о том, что перед нами жестокий, не знающий жалости поработитель чужого народа, уверенный в том, что зло, которое он причинит этому народу, обернется благом для его соотечественников и уж в первую голову для него самого!

Какая странная уверенность, тем более если учесть, что она была присуща человеку, выдававшему себя за глубоко верующего прихожанина лютеранской церкви!

О ШПЕЕРЕ

В моем повествовании еще ни слова не было сказано о двух подсудимых: Альберте Шпеере и Гансе Фриче. Беда не велика! Мне хочется доверительно признаться читателю, что в сущности все главные нацистские преступники чем-то похожи друг на друга.

Стараясь добиться полноты в моих воспоминаниях, я всё чаще и чаще натыкаюсь на бесконечно повторяемые ходы в показаниях подсудимых, как правило, пытающихся доказать свою непричастность к злодеяниям нацизма и оправдать себя перед настоящим и будущим. Столь же трафаретными представляются и их послужные списки, их путь наверх в ближайшее окружение фюрера.

Вот и Шпеер. Он встретился с Гитлером в 1930 году в возрасте 25 лет и «влюбился» в него без памяти. Это непреодолимое чувство привело его в 1932 году в ряды национал-социалистической партии, вождю которой он поклонялся и верно служил, пока не достиг вершин своей карьеры. Лишь в начале 1944 года, когда стало ясно, что война проиграна окончательно и судьба «величайшего полководца всех времен» решена, любовь Шпеера к диктатору в мгновение ока превратилась в острую неприязнь.

Но и тут он оказался не в силах покинуть фюрера. И это при том, что у него был предлог: он заболел. Однако после

лечения Шпеер вернулся на свой пост министра вооружения и боеприпасов.

Карьерный путь Шпеера пролег от главного архитектора рейха до главного организатора и руководителя всей военной промышленности Германии, которая обеспечивала боеспособность вермахта. Стоит ли упоминать еще и другие должности? Повсюду Шпеер проявлял свои организаторские способности, не задумываясь над тем, какой ценой достигается успех. Цена эта — тысячи замученных и покалеченных непосильным трудом, тяжелыми условиями жизни и просто пытками иностранных рабочих. Куда и сколько гнать этих рабочих или, может быть, вернее сказать рабов, решал подсудимый Шпеер, а откуда и как — это уже была забота упомянутого ранее подсудимого Заукеля.

На суде Шпеер признал это «само собой разумеющейся практикой», ибо «кто же главнее во время войны, чем министр вооружения! Все, конечно, должны работать на него».

Министр высоко ценил «дисциплину» среди своих рабов и требовал энергичного применения «самых суровых наказаний за проступки на производстве». Нужно карать нарушителей дисциплины и саботажников, заявлял он в 1942 году в газете «Das Reich», каторжными работами или смертной казнью, ибо «война должна быть выиграна».

На положении иностранных рабочих, угнанных в рейх, и сосредоточил свое внимание на перекрестном допросе Шпеера главный обвинитель от США Роберт Джексон. Бывший министр сознался, что он прекрасно понимал, что рабочие были отправлены в Германию из стран Европы против своей воли. Но своей задачей он всегда считал, чтобы таких насильственно пригнанных было в Германии как можно больше.

Признаюсь, что переводить эти слова мне было трудно. Подсудимый говорит: «Как можно больше!», а я мысленно уже готовлюсь сказать: «Как можно меньше!» Или я не должна верить своим глазам, убеждающим меня, что передо мною человек — подобие образа Божия, или я неверно расслышала эту чудовищную фразу: «Да, их гонят насильно, но пусть пригонят как можно больше!»

ГОРЬКИЕ АССОЦИАЦИИ

В добавок к этому на перекрестном допросе меня ожидали еще и тяжелые воспоминания и ассоциации с нашим советским опытом. Они возникли, когда речь зашла об излюбленном приеме укрепления трудовой дисциплины и порядка среди иностранных рабочих в Германии с помощью железного шкафа-карцера, где ни сесть, ни встать в полный рост, где человека можно заморозить, залить водой и просто «приморить» долгими часами безо сна и отдыха. Железный ящик в 152 сантиметра высотой, ширина и глубина — от 40 до 50 сантиметров, стандартное орудие пытки и наказания, а может быть, и убийства непокорных. После подробных пояснений Джексона и демонстрации фотографий всех охватил ужас. Как же мне было не вспомнить, что и у нас, в советских тюрьмах, в такие ящики для «психологической обработки» часто помещали вновь прибывших с воли арестантов.

Пишу эти строки и уже слышу вопли моих оппонентов, сталинистов, уверяющих, что у нас, в первой стране социализма, такого быть не могло и, следовательно, не было. Что у нас были ошибки и перегибы, но всё было совсем не так, как у проклятых фашистов.

Да было, было совсем не так, а вернее, не совсем так. И шкафы назывались не шкафами, а боксами, и экзекуция усугублялась не ледяной водой, а сотнями голодных клопов. Вода тоже применялась для пыток, но не в боксах, а в карцерах и не только ледяная, но и горячая.

Я знала это, хотя тогда, в 1946 году, еще не был написан «Архипелаг ГУЛАГ» и другие документальные и художественные повести о советских тюрьмах и лагерях. Но был живой свидетель, ни с кем не сравнимый Варлам Шаламов. Тогда, в 1933—1935 годах, он между двумя арестами жил в Москве. В наш дом его ввела замечательная женщина, сестра его жены, близкая подруга моей мамы Александра Игнатьевна Гудзь.

Несмотря на значительную разницу в возрасте Ася — так мы ее звали в нашей семье — была для меня самым верным,

всё понимающим другом, оставившим неизгладимый след в моей душе. Она умерла впоследствии в колымском лагере от крупозного воспаления легких, не получив нужного лекарства, которое на Колыме предназначалось только для «вольняшек». Простите мне это отступление. Оно не случайное, оно самое что ни на есть необходимое и важное.

Волею судьбы Варлам Шаламов стал для меня тем первым человеком, который посеял в моей душе робкое, еще не окрепшее сомнение в праведности и непогрешимости нашего государства. В те годы я еще гордилась своим социалистическим отечеством и мне не было за него мучительно стыдно и больно.

Слушая, затаившись между взрослых, устные рассказы Варлама, я впервые узнала о существовании в СССР лагерей и политических заключенных, о карцерах и пытках и о тех самых ящиках в советских тюрьмах и лагерях.

Остается только добавить, что во время проведения Международного суда в Нюрнберге и до самой смерти Великого Вождя и Отца народов и даже после этой смерти страшная практика пыток в первом в мире социалистическом государстве неукоснительно продолжалась.

ЕЩЕ О ШПЕЕРЕ И ФРИЧЕ

И еще одно прозвучавшее вполне буднично заявление министра вооружения Шпеера на суде заставило меня содрогнуться, но уже по другой причине. Джексон спросил Шпеера, проводились ли в Германии опыты и исследовательские работы в области расщепления атома. «К сожалению, — ответил Шпеер, — мы не достигли в этой области достаточных успехов, так как все лучшие силы, которые занимались изучением расщепления атома, выехали в Америку. Мы слишком отстали в этом вопросе. Нам потребовалось бы еще один-два года...» Что-то похожее на стон прошло по залу. Разве оставались после этого какие-то сомнения, что, будь у него в руках атомная бомба, он бы не задумался применить ее в интересах победы нацизма, хотя бы и ценою гибели большей части немецкого народа, а может быть, и всего человечества.

Затем, правда, Шпеер доверительно сообщил суду, что вынашивал планы отравления Гитлера газом в его берлинском бункере. Оно и видно, каковы были эти планы, по его последнему визиту уже в осажденный Берлин, где он трогательно попрощался со своим кумиром.

Последним во втором ряду сидел на скамье подсудимых Ганс Фриче, бывший начальник Отдела внутренней прессы в геббельсовском министерстве пропаганды, а затем руководитель отдела радиовещания того же министерства. Он был ярым приверженцем национал-социализма, пользовался большим доверием Геббельса и в своих пропагандистских речах никогда не отступал от того, что у нас назвали бы «генеральной линией партии».

И всё же на скамье подсудимых среди главных должен был бы сидеть его шеф Йозеф Геббельс. Тот по своей значимости лучше вписался бы в круг представших перед этим судом гитлеровских главарей. А Фриче подсудимые с улыбкой поздравляли с тем, что он избежал расправы в застенках Лубянки. Такой неблагоприятный поворот судьбы был вполне возможен, так как Фриче был взят в плен советскими солдатами и вместе с Редером доставлен из московской тюрьмы в Нюрнберг, что и дало ему в конце концов возможность обрести свободу.

Мне Фриче запомнился краткостью и четкостью ответов на допросе, что собственно и выдавало в нем профессионального радиокомментатора. Переводчикам с ним было легко.

Однажды утром перед началом очередного заседания суда ко мне подошел симпатичный молодой человек, потомок старинного российского дворянского рода, эмигрант во втором поколении князь Васильчиков. Князь был моим коллегой, переводчиком с русского на английский. Радуясь за меня, а также демонстрируя отменное знакомство с современными реалиями русского языка, его сиятельство торжественно произнес: «Доброе утро, милостивая государыня! Сегодня будут допрашивать Фриче, *вот лафа*!» Не могу утверждать, что речь князя всегда отражала новейшие явления в русском языке, но уж насчет легкости перевода допроса Фриче его прогноз оправдался на все сто.

Что греха таить, этот молодой человек пробудил у меня чувство глубокой симпатии. Думаю, что и я была ему не без-

различна, так что симпатия была взаимной. Но он был князем, и этим всё сказано. Мы только улыбались друг другу при встрече. На прощание он подарил мне вышедший в Цюрихе первый том книги Гизевиуса «До горького конца». Стыдно сказать, страничку с трогательной надписью я вырвала своею собственной рукой и сожгла в пепельнице (вот она, наша родная советская бдительность!). Но книга до сих пор стоит на полке в моей домашней библиотеке. Князь Васильчиков несколько раз посещал нашу столицу в 90-е годы, и я увидела старого князя на московском телеэкране и подумала: какое счастье, что он не видит меня.

А БЫЛ ЛИ БОРМАН?

Итак, наконец-то! Список представших перед судом главных немецких военных преступников исчерпан. Впрочем, нет. Был еще один, «серый кардинал», заместитель фюрера по руководству национал-социалистической партией Германии Мартин Борман. Суд рассматривал дело Бормана заочно на основании статьи 12 Устава МВТ. Если бы защитнику Бормана Бергольду удалось доказать факт смерти подсудимого, вопрос о Бормане был бы снят. Но эта попытка не увенчалась успехом, так же, как и попытка опровергнуть доказательства вины этого матерого нациста, влиятельного и жестокого пособника фюрера. Но, как известно, не удалось и предъявить Бормана суду! Не хочу обсуждать все «за» и «против» разных версий о послевоенной судьбе подсудимого. Если он какое-то время после войны был жив, то жил он с вынесенным ему заочно приговором к смертной казни через повешение.

ПРЕСТУПНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Кончено с допросами подсудимых. Адвокаты произносят защитительные речи. Главные обвинители выступают со своими заключительными речами. Затем начинается рассмотрение дела о преступных организациях: руководящем составе

нацистской партии (НСДАП), тайной полиции (гестапо) и службе безопасности (СД), охранных отрядах (СА); правительственном кабинете, генеральном штабе и верховном командовании германских вооруженных сил.

Этой части процесса в научной и мемуарной литературе о Нюрнберге отводится весьма скромное место. Мемуаристы и исследователи отдают предпочтение преступникам, сидевшим на скамье подсудимых.

На упоминавшейся мною встрече нюрнбергских журналистов со Сталиным советские мастера формирования общественного мнения начали свой, как вы помните, неудавшийся рассказ Великому Вождю с характеристики главных немецких военных преступников. Судя по тому, что поведал мне при встрече на берегу Женевского озера один из участников этой встречи — Борис Полевой, на приеме у Вождя о преступных организациях речи не было. Скорее всего потому, что в первой половине года обвинители успели представить Трибуналу лишь доказательства по делу преступных организаций и суд заслушал первые выступления обвинителей и возражения защиты. Последнее сражение сторон по этому делу было еще впереди.

Только в конце июля настала очередь адвокатов преступных организаций представлять доказательства и допрашивать свидетелей. Затем последовали перекрестные допросы и, наконец, в последних числах августа суд заслушал защитительные речи адвокатов и заключительные речи обвинителей.

Перечисление того, что происходило в зале суда в жаркие дни лета 1946 года, подтверждает, что и при рассмотрении преступлений нацистских организаций Трибунал не допустил поспешности, не нарушил принятого им Устава и установленного порядка рассмотрения дел. И это несмотря на то, что некоторые представители мировой общественности, следившие за ходом исторического процесса, уже поговаривали о том, что судебное разбирательство слишком затянулось.

Как правило, и пресса поддерживала эту точку зрения. Так, была опубликована карикатура, на которой Лоренс изображен ветхим длиннобородым старцем, а перед ним на поредевшей скамье подсудимых сидит единственный из под-

судимых, оставшийся в живых. Остальные успели перейти в мир иной.

Мы, переводчики, тоже не молчали — начали сочинять и тихонько распевать песни на животрепещущую тему: «Пора кончать, хотим домой!» В одной из песен были такие слова:

Если год процесс тянуть
Кажется вам мало,
Дайте нам передохнуть
И начнем сначала!

Но ни голос общественности, ни усилия карикатуристов, ни песни переводчиков не могли ускорить ход процесса. Он продолжался с соблюдением всех процессуальных норм при полном обеспечении равенства сторон в целях соблюдения земной справедливости.

В своем заявлении Трибуналу по поводу преступности нацистских организаций американский обвинитель Роберт Джексон еще на первой стадии рассмотрения дела подчеркнул его особую важность, указав на то, что «...оправдать эти организации было бы гораздо большей катастрофой, нежели оправдать всех 22 подсудимых, сидящих сейчас на этой скамье. Эти подсудимые теперь уже бессильны причинить зло, тогда как организации еще могут продолжать свое злодейское дело. Если эти организации будут здесь реабилитированы, германский народ сделает вывод, что они действовали правильно и его будет легко снова муштровать во вновь созданных организациях под новыми названиями, но с той же программой».

Представители обвинения в своих выступлениях всё время подчеркивали, что речь идет не об осуждении немецкого народа и не об огульном преследовании всех, включая и рядовых членов национал-социалистической партии, а об осуждении только ее политического руководства.

В организации СД, например, не подлежали преследованию тысячи добровольных осведомителей, так называемых «V-Männer» (фау-меннер, Vertrauensmänner, дословно «доверенных лиц»), по-нашему — стукачей. А ведь они своими высосанными из пальца ложными доносами погубили в наших странах сотни тысяч честных граждан или, по крайней мере, отравили им жизнь. Мне тогда в Нюрнберге казалось,

что следовало бы каким-то образом публично осудить их поведение, чтобы в будущем им, вернее их потомкам, было неповадно мучить людей. По молодости лет я не понимала, что таким путем с доносительством покончить нельзя, потому что в условиях диктатуры доносчиков воспитывают и лелеют. Они необходимы, ибо, порождая страх, способствуют укреплению власти диктатора на всех уровнях.

Первое место в списке преступных организаций по праву занимал руководящий состав национал-социалистической партии Германии.

Пишу именно «национал-социалистической», вопреки обычаю авторов прошлых лет писать «национал-социалистской», так как ни в одном толковом словаре русского языка нет слова «социалистский». Кто его придумал, неизвестно, предполагаю, что сделал это руководящий состав КПСС, тогда еще ВКП(б), чтобы избежать рокового сходства в названиях. В переводе на все другие языки Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei (NSDAP = НСДАП) была и остается национал-социалистической рабочей партией Германии.

Это далеко не единственная трудность, возникавшая при переводе слов, получивших широкое распространение как в социалистическом, так и в национал-социалистическом обществе (таких, например, как «социализм» и «товарищ»). Когда в наушники синхрониста поступали такие слова и речь шла не о Советском Союзе, а о нацистской Германии, советский переводчик был обязан как-то выкручиваться. Одним словом — «черного и белого не называть!» Что касается названия национал-социалистической партии, то нас, простых синхронистов, спасало от возможных замечаний таких «знатоков русского языка», как Розенберг, короткое, легко и быстро произносимое, «удобное» для синхронного перевода сокращение NSDAP.

Но это — переводчики, а представители обвинения могли себе позволить и другие варианты. Так, главный обвинитель от СССР Р. А. Руденко в своей заключительной речи по делу преступных организаций переименовал НСДАП в некую «немецко-фашистскую» партию. И мне тут же вспомнилось, как в окопах пленный немец тщетно уверял нашего

солдата, что он не фашист, а нацист и они никак не могли понять друг друга.

Но дело, конечно, не в названиях, тем более что они во избежание путаницы во многих случаях вообще не переводились и фигурировали в документах и выступлениях обвинителей на немецком языке. Так поступили, например, со структурными подразделениями, чинами и должностями нацистской партии (гау, ортсгруппе, целле, блок; хохайтсляйтер, рейхсляйтер, гауляйтер, ортсгруппенляйтер, целленляйтер, блокляйтер).

Дело в том, что при рассмотрении преступлений руководящего состава нацистской партии, которым все обвинители в своих речах уделяли большое внимание, с особой ясностью выявилось сходство с другой партией. Сознавать это, поверьте, мне было очень тяжело. Никто из нас не хотел, находясь в чужой стране, да еще на Нюрнбергском процессе проводить сравнения. Сравнения возникали сами собой.

НСДАП выражала политическую концепцию, политическое сознание германской нации, и всё это было сконцентрировано в личности фюрера, распоряжения которого имели силу закона. Руководящий состав партии контролировал правительственную машину путем внедрения политической воли партии в государственный аппарат.

Одной из важнейших задач партийного руководства являлось внедрение национал-социалистической идеологии во все области жизни. Партия осуществляла полный и всеобъемлющий контроль над жизнью каждого немца, начиная с десятилетнего возраста и кончая смертью. Система, связывавшая первичные партийные организации с партийным руководством, давала возможность получать сведения о малейших изменениях в настроении народа. За всеми гражданами был установлен строжайший надзор и наблюдение по районам их проживания.

«Принцип фюрерства» означал, что каждое указание Гитлера, требования гитлеровской программы и политики для всей партии были обязательными. Этот принцип пронизывал весь руководящий состав партии и государства. НСДАП являлась единственной политической партией в Германии. Создание других партий было запрещено и каралось тюремным

заключением. Нацисты учредили свою собственную систему принуждения вне закона, систему с концентрационными лагерями, доносами, отсутствием свободы мысли и слова.

Всё это говорилось в речах обвинителей и было нам, советским гражданам, увы, хорошо знакомо. Потому-то мне было очень тяжело слушать заключительную речь Руденко, когда он говорил о НСДАП, о задачах гестапо, о концентрационных лагерях, арестах и доносах. Неужели он не отдавал себе отчета в том, что всё то же самое есть в Советском Союзе и что присутствующие в зале иностранные граждане прекрасно знают об этом!

Не случайно через много лет в зарубежной литературе о Нюрнбергском процессе о том же писали многие авторы, невольно подтверждая мои мысли на этом процессе. Так, в капитальной работе американского обвинителя Телфорда Тейлора, вышедшей в США в 1992 году, автор пишет: «В Москве Сталин всё еще был у власти, и замечание Руденко о немецких концлагерях, пользующихся «широкой и мрачной известностью», прозвучало весьма сомнительно».

Думаю, что не ошибусь, если скажу, что скрупулезное рассмотрение преступлений нацистских организаций предоставило в распоряжение юристов всего мира интересный материал как для развития юридической науки, так и для судебной практики. Опыт Нюрнбергского процесса, несомненно, может послужить подспорьем для судей, обвинителей и адвокатов, которым суждено будет рассматривать дела преступных организаций. Надеяться на то, что таких организаций скоро совсем не будет, пока, к сожалению, не приходится. Нюрнбергский трибунал впервые предпринял попытку рассмотрения вопроса в международном масштабе. Не мне, наверное, судить о том, насколько эта попытка удалась.

Давая характеристику принципам и целям каждой организации и подтверждая конкретными примерами ее преступность, обвинители в заключительных речах стремились лишить высокий суд малейшей возможности усомниться в справедливости предъявляемого обвинения и требуемого наказания.

В приговоре Трибунал признал преступными руководящий состав НСДАП, гестапо, СД и СС.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

А за стенами Дворца юстиции жаркое лето, буйство цветущих деревьев и пение птиц. Но всё это не для нас. Долгие часы проводим мы в зале суда, и нашей работе, кажется, не будет конца, как не будет конца тому злу, которое творят существа, именуемые людьми.

Жизнь, между тем, идет своим чередом. Каждое утро мы просыпаемся в нашей столь непривычно для нас благоустроенной вилле с огромными холлами на первом этаже, с балконами, прекрасными спальнями и ванной комнатой, снабженной всеми мыслимыми и немыслимыми удобствами, на втором.

Наша Люся, руководитель советской группы письменных переводчиков, замечательный человек и прекрасный специалист, не в силах оторваться от ванны. Всю жизнь она прожила в московской густонаселенной общей квартире с одним умывальником и с одним туалетом на сорок человек. Поэтому в Нюрнберге дисциплинированная и тактичная во всём остальном Люся в шесть часов утра запирается в ванной комнате, ходит там босыми ногами по выложенному красивыми плитками теплому чудо-полу, опускается в нежно-голубую ванну и забывает всё на свете в белоснежной пене «бадусана». Идет время, и мы, остальные обитатели дома, напрасно пытаемся достучаться в дверь ванной, добраться хотя бы до умывальников и посмотреться в большие зеркала, как это необходимо женщинам, отправляющимся на работу. Мы еле-еле успеваем проглотить американский завтрак и на стареньком автобусе советского производства отправляемся во Дворец юстиции.

Каждый спешит здесь на свое рабочее место. Но вот в середине дня мы все вновь встречаемся в столовой, где ловкие американские повара с поварятами в белоснежных халатах и колпаках раздают обед. Действует система самообслуживания, возможно, впервые введенная на Международном процессе и затем получившая столь широкое распространение во всём мире. Здесь обедают все, кроме, конечно, судей,

обвинителей и подсудимых. С кем только не сведет вас случай за обеденным столом.

И вот однажды... Как часто приходится мне так начинать свой очередной рассказ.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА

Мы давно уже привыкли к системе самообслуживания. Надо подойти к длинной стойке с подносом и получить свою порцию. А затем следуют долгие поиски свободного места за тем или иным столом. Для этого приходится передвигаться, лавируя среди обедающих с нагруженным подносом в руках. Не так-то это просто! И каждое свободное место кажется вам «землей обетованной», к которой вы устремляетесь сразу же, как только увидите его.

Так было и в тот памятный день. Я сразу же увидела стол, за которым сидел всего лишь один человек в американской военной форме. К американским военным мы в Нюрнберге давно привыкли. И я без промедления направилась к этому столу, стараясь донести и не расплескать суп свой и не уронить булочку в суп чужой.

Эту нелегкую задачу я выполнила, достигла заветной цели, опустилась на свободный стул и, поставив на стол поднос, наконец взглянула на моего соседа. Воинским званием он поразить меня не мог: всего-навсего старший сержант. Внешний вид также был довольно типичен для американского служаки: мощная фигура, мясистый нос. Правда, в добавок к этому у него был тройной подбородок. При таком питании и это не диво! Но меня поразило его необычайно суетливое, услужливое поведение. Как только я появилась, он сорвался с места и принес бумажные салфетки, которых почему-то не было на нашем столе. Затем он осведомился о моем аппетите, подал мне соль и в конце концов заявил, что готов сделать для меня всё, что я ни прикажу.

Такой поворот дела, признаюсь, не на шутку напугал меня и пробудил мою советскую бдительность. Я начала искать глазами соотечественников. Они сидели недалеко от нас и, как нарочно, делали мне страшные глаза и пода-

вали таинственные знаки, что привело меня в полное смятение.

Тем временем сержант притащил четыре порции мороженого, которое в тот день давали на десерт. Мороженое я любила с детства и всегда просила добавки! Во Дворце юстиции добавку давали неохотно. Еще бы! Ведь всё, что мы съедали, было доставлено на самолетах из-за океана, чтобы нас, не дай Бог, не отравили какие-нибудь фанатичные нацисты.

Узрев перед собою четыре порции своего любимого лакомства, которые, несомненно, далеко не всякому удалось бы получить, и расплывшееся в доброжелательной улыбке лицо любезного незнакомца, я окончательно заподозрила что-то неладное.

Одну дополнительную порцию мороженого я всё же быстро проглотила и, пожелав своему странному соседу хорошего аппетита, поспешила встать и уйти, несмотря на просьбы сержанта остаться и еще поговорить с ним хотя бы несколько минут.

Ни жива, ни мертва я добралась до нашей рабочей комнаты, где меня уже ждали мои товарищи, наблюдавшие всю сцену в столовой издалека. Недаром я беспокоилась! От коллег я узнала, что моим соседом по столу был не кто иной, как только что прибывший из Америки потомственный палач Джон Вудс, рядом с которым никто и никогда не садится, и даже женой его может быть только дочь другого палача!

Выслушав такое сообщение, я первым делом попыталась его дезавуировать, высказав некоторые сомнения в отношении достоверности сведений моих коллег. Суд ведь еще не завершился, и мне казалось, что палач должен приехать в Нюрнберг ближе к концу процесса.

Но Вудс действительно приехал к месту своей работы загодя, для того чтобы со всем ознакомиться и проверить надежность «новейших технических средств» (читай «виселиц»). Оказывается, и эта техника требует освоения и ухода.

Это ведь только во время войны все делалось на ходу, тогда пользовались первыми попавшимися веревкой и перекладиной, табуреткой или даже ящиками, а то и крюками для подвешивания мясных туш. Именно на этом «обору-

довании» организовали по распоряжению фюрера расправу с участниками заговора против Гитлера 20 июля 1944 года.

Я не могла не рассказать об этом эпизоде моей нюрнбергской жизни, ибо там, где приговаривают к смертной казни через повешение, обязательно должен быть палач. И, наконец, не каждому и не каждый день доводится пообедать с палачом. Такое забыть невозможно! И то слава Богу, что всё это прошло для меня безо всяких последствий.

Я знаю, что мои более молодые читатели скажут: «Ну что вы причитаете? Ведь ничего такого с вами не случилось: Серов вас не обидел и даже пообещал, что через месяц вы будете в Москве, «арест» в американской тюрьме, когда вы заблудились, сошел вам с рук, объятья Геринга не имели никаких последствий, о вашей беседе с палачом никто не донес, и даже прямой донос о вашем поведении при переводе Заукеля не имел последствий. А вы всё жалуетесь на тоталитарный режим, на слежку и угрозу ГУЛАГа!».

На это я, во-первых, могу возразить, что дело происходило всё же вдалеке от Родины, а во-вторых, советские люди старшего поколения знают, что каждое такое «приключение», даже и сходившее с рук, оставляло глубокий рубец на сердце подданного тоталитарной системы. И мы никогда не забывали нашу советскую власть, от которой можно было ожидать всяческой кары за пустяк или просто ни за что. А то, что кара могла стать жестокой и неумолимой, мы знали слишком хорошо.

Видимо, всё же условия для службы сексотов, следивших за нашим поведением и моральным обликом, были в Нюрнберге не идеальными, да к тому же без нас там было трудно обойтись. Меня миновало само собой напрашивавшееся обвинение в зловещем и преступном сговоре с представителем империалистического мира, да еще с таким редким специалистом — профессиональным палачом с пятнадцатилетним стажем.

Но если для наших «бдящих в ночи» американский палач был фигурой прежде всего политически подозрительной, то для обыкновенных людей — личностью мрачной и мистической. Несть числа приметам и суевериям, окружавшим эту фигуру.

К слову, отмечу, что страсть участников и гостей процесса к сенсациям и сувенирам приобрела в Нюрнберге чудовищный размах. В качестве сувениров изымалось всё: от молотка, которым должен был пользоваться председатель суда Лоренс, бесследно исчезнувшего в первые же дни процесса, до веревок, на которых были повешены приговоренные к смертной казни узники Нюрнбергской тюрьмы. Был слух, что эти якобы приносящие счастье веревки были разрезаны на маленькие кусочки и распроданы американским палачом как приносящие счастье талисманы. Не знаю, принесли ли они счастье суеверным покупателям необычного товара, а вот предприимчивый палач вернулся в Штаты очень и очень состоятельным человеком.

Но не в деньгах счастье. Позже дошел до нас другой слух. Веревочный талисман из Нюрнберга долгого счастья палачу не принес. Вудс погиб в 1950 году при проверке технических возможностей нового электрического стула. Совсем как у Кафки в рассказе «Штрафная колония».

УЛИТКА ВАМ ПОМОЖЕТ...

Само собой разумеется, мои соотечественники, как считали наши партия и правительство, должны были резко отрицательно относиться к суевериям, этим пережиткам проклятого прошлого, противоречащим единственно верному мировоззрению — диалектическому и историческому материализму. Но, по-видимому, благодаря каким-то вражеским проискам, покончить раз и навсегда с суевериями в нашей стране не удавалось. Могу засвидетельствовать, что отдельные граждане продолжали плевать через левое плечо, опасаться перебегающей дорогу кошки и хранить на счастье талисманы.

Наглядно подтвердить этот факт решили неутомимые французские корреспонденты, которых постоянная нужда в гонорарах толкала в Нюрнберге на поиск сенсаций и фактов, представлявших интерес для читателей и редакций газет и журналов. Если сенсации сами по себе в зале не происходили, можно было их организовать. Это французские акулы пера делать умели!

Поэтому-то в перерывах между заседаниями всегда надо было быть начеку, чтобы не попасть к ним на удочку. Разумеется «охота» шла на статистов, речи не было о главных действующих лицах исторического судебного процесса, которые были доступны разве что на пресс-конференциях или официальных встречах, куда корреспондентов не всегда допускали.

Расскажу теперь, как я попалась на корреспондентскую удочку.

Дело было так. Перед открытием очередного судебного заседания ко мне подошли два французских журналиста и сообщили, что сейчас будут допрашивать подсудимого Штрейхера. Для меня это, разумеется, не было новостью, более того, я прекрасно знала с какими трудностями связан допрос антисемита №1. Не так уж сильно пугал меня ожидаемый баварский диалект подсудимого. Гораздо хуже была острая неприязнь, которую я вместе со всеми в зале, включая, пожалуй, и подсудимых, испытывала к этому глупому, как пробка, отвратительному нацисту. Словом, всё это не сулило переводчикам легкой работы. Но жаловаться не приходилось — ведь переводчик-синхронист всегда должен быть готов к трудностям.

Думая, что мой разговор с представителями прессы окончен, я направилась было в наш переводческий аквариум, но журналисты остановили меня и вручили мне большую коричневую улитку — из тех, которые, как мне было известно, водятся на виноградниках Франции и Германии. Они предложили мне улитку в качестве лучшего талисмана, который оградит меня от любых неприятностей при переводе.

Трудно сказать, под действием ли ощущения, что всё это милая шутка, на всякий ли случай (а кто знает, вдруг она и впрямь помогает даже тем, кто не верит в ее чудодейственную силу?) или просто машинально, только я, поблагодарив дарителей, взяла улитку и поспешила на рабочее место. Здесь я опустила необычный талисман в стакан с водой, надела наушники и приготовилась переводить допрос Штрейхера. Стакан с улиткой стоял рядом со мной. Улитка принесла мне удачу. Перевод прошел гладко. Все трудности я сумела преодолеть.

Улитку я не выпустила, а сохранила в стакане, и через несколько дней она вновь напомнила мне о себе фотографией, помещенной, кажется, в одной из местных газет (точно не помню, в какой, но помню, что на фото была запечатлена я собственной персоной и при улитке). Подпись под фотографией гласила: «Покончить с суеверием в Советском Союзе не удалось. Русская переводчица не расстается со своим талисманом».

Благожелатели оказались опытными провокаторами и хитрыми бизнесменами. Но это приключение осталось незамеченным, а улитку я привезла в Москву.

ПЕРЕВОДЧИКИ

Домой, домой! Мне так сильно хотелось домой летом 1946 года. Душевное перенапряжение постепенно перешло в глубокую физическую усталость. К тому же объем работы немецкого переводчика-синхрониста на процессе был непомерно велик. Точно определить его было трудно. Да в этом и нет никакой необходимости. Достаточно сказать, что мы переводили на наш родной русский язык немцев-подсудимых, немцев-адвокатов и свидетелей, большинство которых тоже составляли немцы.

Добавьте к этому и перевод немецких документов. Этих документов было великое множество. Наши добросовестные коллеги — письменные переводчики не всегда справлялись с работой, тем более всегда срочной. Обычно вновь поступивший документ надо было перевести к утру следующего дня. Потому-то после работы у микрофона в зале суда мы нередко переключались на письменный перевод. Мы диктовали перевод нашим машинисткам, которые в Нюрнберге всегда были в боевой готовности и ждали нас, заготовив бумагу с копиркой и положив пальцы на клавиши своих пишущих машинок. Работа в таких условиях начиналась мгновенно, и переводчику необходимо было выдержать задаваемый машинисткой темп, не теряя при этом качества перевода.

Нашим английским синхронистам тоже приходилось нелегко, но всё же объем работы у них был меньше, чем

у «немцев». Они переводили американских и английских обвинителей и судей, в том числе и председателя суда Лоренса, который требовал к себе особого внимания, ибо часто вклинивался в любую речь или в любой диалог своими спокойно произносимыми, но весьма категоричными замечаниями и репликами. Те, к кому они были обращены, предпочитали не возражать мистеру Пиквику. В случае необходимости английские синхронисты тоже переводили документальные материалы.

Что же касается наших французских коллег, то им повезло. Французский язык звучал в зале суда значительно реже, чем немецкий или английский, и они, хотя и сидели вместе с нами в «аквариуме», чаще всего молчали, ожидая, когда в наушники поступит французская речь.

Вот как раз этому-то, как показала вся наша последующая жизнь, не надо было завидовать. Для начинающего синхрониста нет ничего полезнее, чем постоянная длительная практика в переводческой кабине с наушниками на голове и микрофоном в руках. Для синхрониста с немецким или английским языком лучшей практики, чем Нюрнбергский процесс, как по объему работы, так и по содержанию не придумаешь.

Признаюсь: иногда нам приходилось очень трудно. Ведь нас, советских переводчиков с немецким, английским и французским языками, письменных, устных и синхронных, было всего 40 человек, в то время как у американцев работало в общей сложности 640 переводчиков. Я привожу приблизительные цифры, к тому же эти цифры всё время менялись, но для сопоставления они годятся.

Скажу одно: вся наша переводческая братия работала не щадя живота своего. Мы, советские, не были приучены жаловаться. Однако это не означает, что Москва не имела никакого представления о наших переводческих затруднениях. Время от времени в наши ряды поступало пополнение. Правда, после нашего приезда это были, как правило, только письменные переводчики.

Вспоминается такой эпизод. Однажды из Москвы прислали очень милую даму средних лет, преподавателя немецкого языка на юридическом факультете МГУ. Первый

шок она пережила на улицах Нюрнберга, услышав везде и всюду баварский диалект, который без привычки понять невозможно. Мы сумели ее как-то успокоить, уверяя, что немцы, приезжающие в Нюрнберг из Берлина и других городов, тоже испытывают значительные затруднения с местным говором.

Но уберечь преподавательницу МГУ от второго удара мы при всем желании не смогли. Он был нанесен адвокатом Геринга доктором Штамером. Сидя в зале суда по гостевому билету, наша соотечественница и коллега вдруг услышала ответ адвоката на вопрос председателя о том, сколько времени ему потребуется на представление документов и заключительную речь по делу его подзащитного. Последовал четкий ответ: «Доктор Стамер — зибен стунден» (Доктор Стамер — семь часов).

Явные фонетические ошибки доктора Штамера привели нашу преподавательницу в полное смятение. И напрасно мы твердили ей, что адвокат действительно нарушил незыблемое правило фонетики немецкого языка, по которому сочетание букв *st* следует произносить как *шт* (Штамер, штунден), что адвокат заговорил на своем родном северном диалекте, потому что волновался, так как не был уверен в том, что суд даст ему испрашиваемое время. Слушая эти объяснения наша соотечественница всё время повторяла: «За такую ошибку я ставлю студентам двойки».

Итак, тосковали по дому все наши переводчики, но мне кажется, что моя тоска была острее, чем у других. Может быть, потому, что на заседаниях процесса речь нередко шла об издевательствах над людьми, унижениях и пытках, о фарисействе и вранье, о жестокости и геноциде, о доносительстве и предательстве. Всё это невольно возвращало меня к событиям моей собственной жизни, к тем дням и ночам, когда мы с моей маленькой сестренкой Оксаной жили без родителей, встречаясь с отцом только на свиданиях в Бутырской тюрьме под присмотром бдительной охраны. Мама тогда была еще в Магадане, до нее — ни доехать, ни дойти.

Особенно часто вспоминалось мне одно из свиданий в Бутырке.

СВИДАНИЕ В БУТЫРКЕ

Каждое свидание с папой было для меня печальной радостью. Готовясь к встрече, я всякий раз мысленно проговаривала всё, что можно и должно было сказать о нашем якобы безоблачном существовании, но, увидев отца, его глаза, полные невысказанного страдания, я с трудом находила и выговаривала надуманные и потому бесчувственные слова о нашем благополучном сиротстве. Мне всё же хотелось, чтобы отец поверил в мои выдумки, и он, прекрасно понимая это, шел мне навстречу, делая вид, что принимает мою святую ложь за чистую монету.

Нам ничего не оставалось, как продолжать взаимный обман. Но однажды этому пришел конец. «Не оправдала доверия» моя теперь уже несколько подросшая сестренка, когда я решилась наконец-то взять ее с собой на свидание. Настал и ее черед услышать мрачный лязг ключей и почувствовать ни с чем не сравнимый запах тюремных коридоров.

В Бутырках мы, как всегда, вместе с другими детьми, женами и родителями долго сидели в ожидании наших любимых «шарашечников», которых привозили из разных московских научных институтов, лабораторий и учреждений в тюрьму, где они жили, то есть находились в заключении. А в этих институтах и лабораториях они трудились не покладая рук на благо Родины и фронта. Многочасовое ожидание было связано с тем, что заключенных, получивших разрешение на свидание, отпускали с работы только тогда, когда мы, родственники, приходили в тюрьму с уведомлением о предстоящем свидании, которое получали за день до предстоящей встречи. Только когда близкие уже прибывали в тюрьму, за заключенными отправляли машину. Как и положено гражданам нашего Отечества, мы безропотно ждали кто отцов, кто мужей, кто сыновей.

Предвидя длительное ожидание, мы с сестрой перед уходом из дома плотно позавтракали картофельными очистками, куском черного хлеба с лярдом и стаканом популярного в годы войны в Москве напитка «какавеллы» — щедрого дара

наших американских союзников, состоявшего из шелухи какао-бобов, служивей нам заваркой.

До самой войны у сестренки было плоховато с аппетитом. А прорезался он у нее совсем некстати во второй половине 1941 года. И нарастал столь же стремительно, сколь стремительно таял доступный нам рацион. Поэтому Оксана была всегда голодна и всегда просила есть. Хороший завтрак перед свиданием с папой был ей просто необходим, иначе она могла бы, поддаваясь чувству голода, опровергнуть мой вдохновенный рассказ о вкусной и здоровой пище, которую нам выдают по карточкам.

В тот памятный день тюремный порядок не был нарушен никакими чрезвычайными обстоятельствами и папа, как всегда, появился в большой комнате на первом этаже самой старой московской тюрьмы.

В середине комнаты стоял огромный круглый стол, накрытый толстой темно-зеленой скатертью, а на некотором расстоянии вокруг него — маленькие столики для каждого заключенного и его родственников. Таким образом, никто не мешал друг другу, и каждый охранник, приставленный к группе из двух или трех человек, мог слушать наши разговоры и пресекать в случае чего недозволенные действия. Тюремные стражи не мешали нам и всегда молча следили за нами, а мы старались не забывать об их существовании и не говорить лишнего — своеобразные правила хорошего тона, которые имеют место даже в рамках режима тюрьмы.

Язык Эзопа стал для меня родным. Пользуясь им, мы, вольные, сообщали узникам недозволенную информацию главным образом об арестах московских ученых и специалистов и их судьбах после ареста. Дело в том, что работавшие на оборону «шарашки» в бериевском ведомстве обладали безоговорочным правом подбора кадров («хозяин» был не дурак). Называя вряд ли доступные пониманию охранников приметы и имена (не фамилии, не дай Бог!) арестованных, мы готовили для этих мучеников возможность избавиться от тюрьмы и лагерей, где им грозила гибель, и подсказывали нашим родственникам, каждый из которых был непререкаемым специалистом в своей области, кого именно надо было затребовать у «хозяина» для успешной работы на пользу дела.

Главное было пользоваться абсолютно точной информацией, а то, не дай Бог, вместо вызволения из пасти смерти уже арестованных, можно было спровоцировать арест пока (все мы тогда считали, что это только «пока») находившихся на свободе людей. У ведомства Берии не бывало сомнений в том, что если человек нужен в шарашке, то он должен быть туда доставлен. То ли путем ареста, если его по недосмотру еще не арестовали, то ли путем спасения уже погибавшего в карцерах ГУЛАГа доходяги всеми доступными советской медицине средствами.

Если бы сейчас кто-нибудь взялся просмотреть список главных специалистов, трудившихся в «круге первом», мы нашли бы этот список очень близким к списку наиболее выдающихся советских конструкторов и ученых, таких, как Туполев, Королев и другие. К нашему счастью, и мой отец, крупный специалист в области химии, попал в эту когорту. Некоторых даже далеких по специальности от своих подневольных шефов, последние требовали к себе просто в целях спасения совести и интеллекта нации.

Ко всем этим трудностям нашего разговора с отцом надо добавить и то, что почему-то папа каждый раз задавал вопросы, которыми прежде, будучи на воле, он никогда не интересовался. Спрашивал меня, как мы с сестрой живем, откуда у нас деньги и что мы едим. Я пыталась уверить папу, что мы живем хорошо и ни в чем особенно не нуждаемся. Но если до 1939 года я еще как-то могла без особого труда обманывать папу, то в конце 1942 года (кажется, тогда «шарашечников» вернули из сибирской эвакуации) заставить папу поверить в наше благополучие было очень трудно.

Я уже говорила, что мы с сестрой категорически уклонились от эвакуации, потому что боялись затеряться в водовороте войны. Наш старый московский адрес был нашим талисманом, залогом того, что придет время и мы, даст Бог, соберемся всей семьей на знакомой московской квартире. И я торжествовала, когда в самый разгар войны мы снова получили по нашему старому адресу вызов на свидание с отцом. Пусть он был за тюремными стенами, пусть под

конвоем, важно, что он был жив, и надежда на его возвращение домой вновь возродилась в душе, а с нею и голод и холод можно было терпеть!

И вот я впервые привела на свидание свою сестру. Папа не узнал младшую дочь, с которой расстался в момент ареста в 1937 году. После первых скорее тяжелых, чем радостных, минут встречи начался обычный быстрый и осторожный разговор с отцом. Этот разговор требовал внимания, внимания и еще раз внимания. Я должна была всё сказать и не переврать, а папа должен был всё понять и потом не напутать. И мы на какое-то время потеряли из виду мою сестренку.

А она встала тихонько со своего места рядом со мной и прокралась к большому круглому столу, на котором стояли большие кульки из толстой серой оберточной бумаги. В этих кульках шарашечники приносили уникальную, забытую в то время довоенную снедь для подкормки своих чад и домочадцев.

Моя вечно голодная сестренка уже знала по моим возвращениям со свиданий эти кульки, таившие под грубой бумажной оболочкой совершенно восхитительные волшебные папины дары: бутерброды с маслом, сыром и колбасой, мандарины и апельсины, иногда даже пирожные. И Оксана не выдержала. Она прокралась к большому столу и тоненькой, кожа да кости, ручонкой потянулась к серому кульку. Кулек упал на бок и содержимое вывалилось на зеленую скатерть... Только тут мы обратили внимание на мою сестру. Охранник непроницаемым взором молча глядел на происходящее, как будто окаменев. А все арестанты и их родственники обратили свои взоры в сторону нашей девочки. Некоторые не сумели удержаться от слез. И я впервые увидела, как скупо и тяжело плачут мужчины.

...Свидание закончилось, и, хотя по дороге домой я не ругала сестру, меня всё же душила обида за то, что она не сумела поддержать своим пристойным поведением мой миф о нашем благополучии. В этот день мы действительно наелись досыта!

«ЭТО Я, ЭТО МЫ ПОЁМ!»

Тяжелое прошлое надо забыть, говорят мне друзья и знакомые. Но сделать это нарочно невозможно. Нельзя диктовать нашей памяти, что она должна удержать лишь на время, а что — навсегда. Память выбирает самостоятельно. Иногда она запечатлевает мельчайшие подробности мимолетного малозначительного события. В других же случаях выбирает из события большой протяженности отдельные эпизоды и сохраняет их на всю жизнь.

От Нюрнбергского процесса в моей памяти навсегда остались подсудимые, ведь я впервые именно здесь, в зале суда, увидела и услышала наших действительных врагов, против которых мы воевали на фронте.

Там же, во вражеских окопах, сидели немецкие счетоводы, плотники и столяры, поэты и пианисты, шахтеры, учителя, математики и физики, продавцы и многие другие, как правило, имевшие весьма туманное представление об истинных причинах войны, о военной стратегии и тактике и тем более о нас — своем противнике, которого по приказу командования надо было во что бы то ни стало победить или, по крайней мере, уничтожить, так чтобы на следующий день в очередной военной сводке с фронта соотечественникам в тылу было сообщено, что противник понес большие потери в живой силе и технике. И мы, граждане двух столь похожих во многом государств, уничтожали друг друга не жалея себя.

Но в периоды затишья, прежде чем отправиться на свидание или по каким-либо другим делам, немцы кричали нам из своих окопов: «Iwan! Nicht schießen!» (Иван, не стреляй!). И Иван не стрелял. Когда же наши солдаты отправлялись в баню, они кричали врагу: «Фриц! Нихт паф-паф!» И Фриц не стрелял. Так легко и просто договаривались враги.

А потом вдруг начиналась перестрелка, и тогда мне хотелось вместе с новобранцем из популярного московского анекдота военной поры крикнуть фрицам: «Nicht schießen! Hier sind doch Menschen!» (Не стреляйте, здесь же люди!), чтобы они поняли и прекратили этот идиотизм.

Такая мысль может показаться очень наивной, если не сказать больше. Но тогда шел 1944 год. Судьба войны была решена, и враг не казался нам таким сильным и коварным, как в первые военные годы. Колонны пленных немцев шли на сборные пункты, а советские армии рвались к гитлеровскому логову, где засели подлинные зачинщики и виновники этой бойни и всех тех ужасов, которые они обрушили на Европу.

И вот нежданно-негаданно мне суждено было встретиться с ними в Нюрнберге, точнее с теми из них, кто не успел или не захотел покончить с собой. Они снова были в любимом городе фюрера, но на этот раз не на стадионе, а во Дворце юстиции на скамье подсудимых.

Всматриваясь в чисто выбритые сытые лица подсудимых, наблюдая за ними день за днем и, наконец, повторяя по-русски в микрофон то, что они по-немецки говорили в свое оправдание, я не могла уловить что-либо общее в их облике, речах и поведении с теми окопными немцами, которые в 1944—45 годах группами и поодиночке сдавались в плен.

Пленным немцам я в глубине души сочувствовала. И, признаюсь, меня не мучили сомнения относительно того, вправе ли я после всего случившегося испытывать чувство жалости к людям, которые еще вчера были нашими противниками. Моральной опорой была мне одна из любимых книг моей юности — «Война и мир», оставившая неизгладимый след в душе. Впервые я читала роман Толстого, когда мне было 11 или 12 лет, и, что греха таить, описания батальных сцен я тогда бегло просматривала или вовсе пропускала. Глубокий смысл рассуждений нашего великого классика о войне и мире был для меня сокрыт. Но встреча Пети Ростова с маленьким босым барабанщиком, его жалость к пленному французу, желание ему помочь и гибель Пети утром следующего дня запомнились мне на всю жизнь. Помню, я горько плакала, читая и перечитывая эти страницы романа.

Запомнились мне и слова Кутузова, обращенные к русским солдатам-победителям, сказанные после того, как он увидел голодных и оборванных пленных французов: «...пока они были сильны, мы себя не жалели, а теперь их и пожалеть можно. Тоже и они люди».

Повинуясь чувству жалости к изможденным, голодным и печальным пленным немецким солдатам, я устроила им в ночь на 25 декабря 1944 года праздник католического и лютеранского Рождества. Сидя в большом сарае на окраине затерявшейся в снегах польской деревушки, подкрепившись нашими чудесными фронтовыми сухарями с кусочками сала, которые мне удалось раздобыть, и отогревшись горячим чаем и трофейным итальянским изюмом, пленные солдатики и я вместе с ними грянули немецкую рождественскую песню «Stille Nacht, heilige Nacht!» (Тихая ночь, святая ночь!).

Не успел наш импровизированный хор возвестить миру о рождении Христа, как двери сарая распахнулись и мы услышали громкий и всем знакомый приказ: «Хенде хох!».

В дверях стояли наши бойцы с автоматами наперевес, уверенные в том, что это не пленные фрицы, а заклятые наши враги засели в злополучном сарае. К счастью я успела вскочить и крикнуть: «Не стреляйте! Это я, это мы поем!» Жизнь наша была спасена. Но еще долго при встрече со мной однополчане, хитро подмигивая, повторяли: «Это я, это мы поем!»

Что касается меня, то я для оправдания моего недопустимого пения во вражеском хоре, другими словами моего «участия в самодеятельности противника», имела при себе речь товарища Сталина, в которой он, как всегда, своевременно и метко сказал: «гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий... остается».

Как известно, пока вождь не покинул свой народ, его приказы и даже просто высказывания подлежали внимательному прочтению и беспрекословному исполнению. На это даже такая бдительная, не знающая пощады фронтовая организация, как «Смерш», ничего возразить не могла.

ЖАЛЕТЬ ИХ БЫЛО НЕ ЗА ЧТО

Но вернемся в Нюрнберг. Здесь я не испытывала ни малейшего чувства жалости к подсудимым. Более того, слушая их диалоги с защитниками и обвинителями, я иногда ощущала острое желание высунуть голову из нашего переводческого «окопа» и громко крикнуть судьям: «Этого надо

повесить. По его вине на полях сражений и в концентрационных лагерях погибли тысячи отцов, мужей и сыновей!» Или: «Он не пожалел даже немецких детей, послав их в последние дни войны защищать бесноватого фюрера!» Или: «Он замучил тысячи ни в чем не повинных граждан Европы, угоняя их в Германию!» Или: «Он вешал и резал, как скотину, своих соотечественников!» Или: «Он преследовал и зверски уничтожал людей только за то, что они, по его мнению, не принадлежали к арийской расе!»

Этот перечень можно было бы продолжать до бесконечности. Но он не в состоянии ни облегчить душу, ни подавить гнев, если каждый день ты слышишь о всё новых злодеяниях и нет ответа на мучительные вопросы: «Как это могло случиться? Какие силы толкали эти человеческие существа на тяжелые преступления? Где была совесть преступников, которые в большинстве своем считали себя верующими людьми?»

Скажет ли кто-нибудь, как быть нам, ныне живущим христианам, которым Сын Божий заповедовал: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас» (Матф. 5, стих 43)?

Прости меня, Господи! Я не смогла по отношению к этим извергам исполнить Твою заповедь, не могла тогда, не могу и до сих пор!

И что удивительно: чем яростней подсудимые пытались защитить себя, утверждая, что они ничего не знали о преступлениях нацистов и не имели к ним никакого отношения, тем неоспоримей становилась их виновность, тем глубже они увязали в замешанном ими кровавом месиве и тем острее становилась моя неприязнь к ним.

Некоторые подсудимые действительно разочаровались в фюрере и его политике, но только в самый последний момент перед крахом гитлеровской империи или даже после того, как всё было кончено. Были и такие, как Франк, которые прозрели, лишь очутившись на скамье подсудимых.

Да и поверить в искренность этих запоздалых отречений от гитлеризма и поспешных покаяний нацистских заправил было невозможно. Они сами, давая показания, открывали

свое истинное лицо, повергая в ужас присутствующих в зале участников процесса.

Зачастую решающий удар по подсудимым, разрушающий все попытки оправдать их преступные действия, наносили показания свидетелей, причем не только свидетелей обвинения, но нередко и свидетелей защиты.

СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ

Обвинители и адвокаты вызывали в суд и допрашивали палачей и их жертв, ярых нацистов и непримиримых врагов нацизма, представителей физического и умственного труда, штатских и военных, политических деятелей и ученых, служителей церкви и чиновников, людей разных национальностей и профессий, граждан малых и больших государств.

В книгах и статьях о процессе письменным и устным свидетельским показаниям, как правило, отведено большое место. Но два человека за свидетельским пультом в зале суда обычно удостаиваются особого внимания. Это свидетель обвинения бывший фельдмаршал германской армии Фридрих Паулюс и свидетель защиты комендант концентрационного лагеря Освенцим оберштурмбанфюрер Рудольф Гёсс. Эти двое остались в памяти у всех, кто их видел и слышал в Нюрнберге.

Само появление Паулюса в суде было блестяще организовано советской стороной. Не случайно журналисты назвали этот день самым сенсационным днем процесса. Ведь присутствующим в зале суда было известно, что в 1943 году по приказу Гитлера был объявлен трехдневный траур по поводу гибели 6-й армии в Сталинграде. Командующий армией Фридрих Паулюс был объявлен национальным героем. Немцы были уверены, что он погиб, как истинный германский солдат.

И вдруг советский обвинитель Н. Д. Зóря представляет Трибуналу письменные показания Паулюса, в которых речь идет о разработке генеральным штабом вермахта плана нападения на СССР, так называемого «плана Барбаросса».

Защита без промедления обращается к суду с ходатайством вызвать свидетеля. Она уверена, что ходатайство будет откло-

нено, так как свидетеля нет в живых и, таким образом, его показания окажутся дискредитированными.

Велико же было удивление всех участников заседания, когда Руденко, отвечая на вопрос Лоренса о том, как смотрит он на просьбу защитников, спокойно сказал, что советское обвинение не возражает против вызова свидетеля и что для этого потребуется не больше пяти минут, так как Паулюс находится во Дворце юстиции.

В зале поднялся невообразимый шум. Подсудимые и защитники заговорили разом, а журналисты повскакивали с мест и, толкая друг друга в дверях, ринулись к телеграфным аппаратам, чтобы успеть первыми передать эту сногсшибательную сенсацию в редакции своих газет.

Решив, что происходит нечто из ряда вон выходящее, Лоренс объявил, что суд вызывает свидетеля Паулюса и что настало время перерыва. Так наш мистер Пиквик поступал всегда, когда ситуация выходила из-под контроля.

История появления пленного фельдмаршала в зале суда была настоящей победой советского обвинения, так блестяще, с соблюдением строгой секретности осуществившего эту весьма сложную операцию. Никто из членов советской делегации, не говоря уже о других работниках процесса, кроме лиц, принявших непосредственное участие в организации доставки Паулюса из Москвы в Нюрнберг, не знал об этом нелегком мероприятии. Только тогда, когда высокий пожилой человек в штатском костюме твердой военной походкой вошел в зал суда и занял место свидетеля, все поверили, что это живой Паулюс.

На допросе фельдмаршал держался с большим достоинством. Ответы его были по-военному короткими и четкими. Ему задавали главным образом вопросы о подготовке гитлеровским правительством и немецким верховным командованием вооруженного нападения на СССР. Эта подготовка началась еще в сентябре 1940 года. Паулюс принимал участие в составлении плана «Барбаросса» и своими свидетельскими показаниями развеял легенду о «превентивной» войне Германии против СССР. Паулюс удачно парировал все попытки защиты дискредитировать его как свидетеля и вышел победителем из словесных схваток с адвокатами.

Содержание ответов и внешний вид фельдмаршала могли удовлетворить требования самых взыскательных критиков. И всё же он не вызывал у меня чувства симпатии. Может быть, потому, что в то время мне уже было в общих чертах известно, как развивались события в Сталинграде и как действовал сам командующий 6-й армией генерал-полковник, а потом и фельдмаршал Паулюс в критические минуты.

Я не могла понять, а тем более оправдать упорное стремление этого представителя вермахта выполнить категорический приказ Гитлера во что бы то ни стало удержать фронт ценою гибели сотен и тысяч людей. Как известно, фюрер не дал Паулюсу разрешения на капитуляцию, заявив, что армия должна сражаться до последнего солдата. В ответ на это фельдмаршал, беспрекословно повинуясь Гитлеру, послал ему телеграмму следующего содержания: «Ваши приказы будут выполнены. Да здравствует Германия!»

РАЗМЫШЛЕНИЯ НЕМЕЦКОГО КОЛЛЕГИ

Подробности сталинградского сражения я узнала значительно позже из бесед с его участниками, из книг и статей о битве на берегах Волги. Особый интерес вызвала у меня книга Иоахима Видера, вышедшая в ФРГ в 1955 году и изданная в русском переводе в Москве в 1965 году*. Меня эта книга поразила своей правдивостью, редко встречающейся в литературе о второй мировой войне.

С автором книги, офицером разведки 6-й армии, мне посчастливилось встретиться в Москве в 1970 году. Этот человек вызвал у меня чувство глубокой симпатии.

Дело в том, что, вернувшись после войны из русского плена, Иоахим Видер избрал, как и я, профессию библиотекаря и приехал в СССР в составе делегации ФРГ на 36-ю сессию ИФАА — Международной федерации библиотечных ассоциаций (International Federation of Library Associations).

---

* Видер И. Катастрофа на Волге: Воспоминания офицера-разведчика 6-й армии Паулюса / Пер. с нем. М.,1965.

По воле случая совпали как наши военные, так и наши гражданские специальности. Слава Богу, с оружием в руках мы не встретились, а познакомились гораздо позже в одном из уютных холлов Библиотеки иностранной литературы. Мы очень скоро обнаружили единство наших взглядов не только на проблему сотрудничества в области комплектования фондов научных библиотек, но и в оценке сталинградской битвы и личности фельдмаршала Паулюса, что, согласитесь, встречается не часто, когда речь идет о людях, сражавшихся по разные стороны фронта.

Но единство взглядов действительно было, и каждый из нас радовался этому. Нам очень помогла книга Видера, открывшая мне сокровенные мысли и чувства моего коллеги, бывшего офицера вермахта, к которому после ужасов и страданий пришло прозрение и вслед за ним покаяние. Видер пишет: «Я находился в состоянии нервной взвинченности, которая обострила мои чувства, помогла мне заглянуть в пропасть нескончаемых бедствий, во всю ужаснейшую глубину нашего грехопадения. Близость смерти сорвала с моих глаз повязку, и внезапно я с поражающей ясностью осмыслил разрозненные многолетние наблюдения, впечатления, мучительные размышления и восприятия.

Теперь, на грани между жизнью и смертью, война, принявшая для меня самый ужасный оборот, предстала передо мной в роли неумолимого разоблачителя всего того, что происходило вокруг.

Противонравственная сторона войны и бессмысленность ее, как, впрочем, и всего нашего рокового заблуждения вообще, которое привело нас в этот ад, со всей отчетливостью стала ясна мне.

И я чувствовал себя участником разыгравшегося шабаша ведьм, в котором был повинен и я. Сознание этой вины свинцовым грузом висело на мне, отягощая мое сердце и совесть».

Я сознательно не пропустила ни единого слова в этом отрывке из книги Видера, потому что такие редко встречающиеся искренние признания дают хоть какую-то надежду на торжество добра на Земле в сколь-нибудь обозримом будущем.

Офицер разведки армии Паулюса задает себе вопрос: может ли вообще так называемая стратегическая необхо-

димость оправдать массовую гибель солдат? И отвечает: «Нет, не может!»

Видер признается, что в последние дни битвы не мог избавиться от впечатления, что «вместе с тысячами трупов в немецких могилах под Сталинградом погребена сама человечность». Всё пережитое в сталинградском «котле» убедило автора книги о битве на Волге в бессмысленности любой войны.

Перечитывая на рубеже века эти горестные раздумья и справедливые выводы Видера, я невольно вспоминаю, что ни один из нюрнбергских подсудимых не высказал подобных мыслей и не пришел к такому же заключению. А разве не всё, происходившее в «третьей империи», включая и сталинградскую катастрофу, было им известно и, казалось, неминуемо должно было породить хотя бы что-то похожее на душевные переживания Иоахима Видера? Однако ни в 1943 году, ни даже в 1946 году такого озарения у подсудимых не было!

Не было его и у фельдмаршала Паулюса, характеристике которого отданы многие страницы книги. Этот бездумно подчинявшийся приказам службист, вплоть до страшного конца в сталинградском «котле» хранивший верность Гитлеру, так и не понял, что своим отказом от капитуляции погубил сотни тысяч своих соотечественников и советских солдат.

Незадолго до полного разгрома 6-й армии, в связи с 10-й годовщиной прихода Гитлера к власти Паулюс послал ему поздравительную радиограмму, в которой говорилось о «развевающемся над Сталинградом знамени со свастикой» и о том, что «отказ капитулировать явится примером для соотечественников на родине и для грядущих поколений».

Утром 31 января 1943 года Паулюс со своим штабом капитулировал, «не издав последнего приказа по армии, не сказав ни единого слова прощания или благодарности своим войскам, которые с нечеловеческим упорством прошли сквозь все бои и лишения». Новоиспеченный фельдмаршал бросил свою армию и молча сошел со сцены, отправившись в плен. «Бесславный конец!» — восклицает Видер.

И если штатскому человеку дозволено высказать свое мнение по этому поводу, то я возьму на себя смелость утверж-

дать, что вряд ли найдется военный, который мог бы одобрить действия главнокомандующего.

В заключение Видер пишет: «...город на Волге пылающим заревом осветил военное, политическое и моральное крушение всего нацистского режима. Преисполненная глубокого символического значения трагическая эпопея обнажила дьявольскую сущность государственной и военной системы гитлеризма. За этой системой, поддавшись ее воздействию, вплоть до самого ужасного конца следовало большинство немцев.

Фельдмаршал Паулюс был одним из тех, кто помогал претворять в жизнь пагубные приказы. К сожалению, лишь после катастрофы он понял, во имя чего отдали свои жизни многие борцы Сопротивления и политически здравомыслящие представители офицерства».

В предисловии к русскому изданию книги маршал А. Еременко дал ей положительную оценку, однако высказал мнение, что автор «далек от верного понимания исторического процесса» и является «идеалистом и приверженцем религиозной философии».

Я же скажу только: дай Бог, чтобы как можно больше людей придерживались этой самой религиозной философии. Может быть, тогда во всем мире и в нашей стране не было бы тех ужасов и зверств, которыми так богата история уходящего века.

В ДНИ ДОПРОСА ПАУЛЮСА

Закрываю книгу Видера и возвращаюсь во Дворец юстиции, где в дни допроса Паулюса 11 и 12 февраля 1946 года все мы радовались нашему успеху. Он заключался не только во внезапном сенсационном появлении важного свидетеля в зале суда, но и в содержании его показаний.

В один из этих памятных всем дней всё тот же князь Васильчиков попросил «милостивую государыню», то бишь меня, заранее сообщить ему, когда русские пригласят в качестве свидетеля Адольфа Гитлера.

А в коридоре Дворца юстиции, когда я спешила к автобусу, мне встретился высокий симпатичный молодой человек.

Он быстрым шагом шел мне навстречу и, поравнявшись со мной спросил по-немецки: «Вы не знаете, где мой отец?» и, поймав мой недоуменный взгляд, добавил: «Я сын Фридриха Паулюса Эрнст-Александр».

Мгновенно вспомнив свое первое свидание с отцом, я была готова сделать всё, чтобы помочь Паулюсу-младшему: слишком хорошо мне было знакомо душевное волнение и чувство радости, которые овладевают тобой, когда узнаешь о воскрешении из мертвых близкого человека, ушедшего в неизвестность и через несколько лет возвратившегося в этот мир живым.

Но что я могла ответить сыну? Куда препроводили его отца после допроса в суде, мне было неведомо. Поэтому я только объяснила ему, как пройти в комнату для свидетелей, и, чтобы как-то подбодрить и успокоить Эрнста-Александра сказала, что всё будет хорошо. К счастью, мое предсказание сбылось. Первое свидание Фридриха Паулюса с семьей состоялось в тот же день в Нюрнберге. После этого он вернулся в Москву, но не за колючую проволоку, как предполагал в своей книге Видер, а в подмосковный санаторий, откуда затем он был переправлен в Дрезден, где и умер в 1957 году.

СВИДЕТЕЛЬ ЗАЩИТЫ

Свидетель защиты Рудольф Гёсс был вызван в суд по просьбе адвоката подсудимого Кальтенбруннера Курта Кауфмана для того, чтобы подтвердить, что инициатором уничтожения миллионов людей в концентрационных лагерях был Гитлер, организатором — Гиммлер, а все прочие, и в том числе подзащитный адвоката Кальтенбруннер и комендант лагеря Освенцим Гёсс, являлись всего лишь исполнителями заданий и распоряжений Гиммлера, причем всё было так засекречено, что никто о происходящем в Освенциме не знал.

В русскоязычной литературе комендант Рудольф Гёсс (Rudolf Höß, т. е. скорее Гёсс, как я и пишу) нередко упоминается как «полный тёзка» и, уж конечно, однофамилец подсудимого Рудольфа Гесса (Rudolf Heß). Но это только один

пример из серии неизбежных при передаче средствами другого языка отклонений, которые в частности привели русских читателей и радиослушателей к убеждению, что почти все монстры из нацистской верхушки «начинаются на Г»: Hitler; Himmler, Heß. Все эти фамилии в передаче по-русски вслух начинаются даже не на мягкое украинско-русское «г» с придыханием, а прямо-таки на твердое взрывное «г». Наши карикатуристы иногда изображали ряд этих «Г» в виде ряда виселиц, что вполне резонно ассоциировалось с ужасным послужным списком этих изуверов.

Но, какова бы ни была транскрипция фамилии пресловутого коменданта, его деяния и изуверская его психология с трудом поддавались любому человеческому восприятию.

Адвокат явно ошибся, вызвав Гёсса в качестве свидетеля! Не на того напал. Комендант Гёсс никого выгораживать не собирался, да и вряд ли мог предъявить какие-то доказательства того, что за пределами Освенцима все ужасы концлагеря были неизвестны.

В своих показаниях матерый уголовник Гёсс, еще в 1924 году осужденный на 10 лет за убийство, а с 1940 по декабрь 1943 года занимавший пост коменданта лагеря Освенцим, с предельной ясностью обрисовал преступную практику безжалостного уничтожения ни в чем не повинных людей и роль нацистских заправил в этом преступлении. Среди этих заправил были и те, кто сидел здесь, в Нюрнберге, на скамье подсудимых. И именно они назвали день допроса этого свидетеля «самым черным днем процесса».

С того дня прошло больше 50 лет, но я хорошо помню страшные показания Гёсса и мучительное желание плакать и кричать от охвативших меня скорби о жертвах и гнева по отношению к палачам.

А комендант лагеря Освенцим был абсолютно спокоен, как будто речь шла не об удушении и сожжении двух с половиной миллионов людей, а о некоем, если уж не вполне гуманном, то, по крайней мере, совершенно обыденном мероприятии. Он даже сообщил суду, что ездил в лагерь Треблинка, чтобы ознакомиться с тем, как там производится истребление людей и по возможности перенять и усовершенствовать тамошний опыт уничтожения жертв.

Усовершенствование заключалось в замене газа «моноксид» на более эффективный «циклон Б» и в строительстве газовой камеры повышенной «производительности», вмещавшей разом не 200, как в Треблинке, а 2000 человек!

Поведал Гёсс суду и о своем выдающемся милосердии, которое он проявлял по отношению к обреченным на смерть русским военнопленным, немецким евреям и евреям из Голландии, Франции, Бельгии, Польши, Венгрии, Чехословакии, Греции и других стран: ведь у Гёсса, направляясь в камеру, они думали, что их подвергнут санитарной обработке, тогда как в Треблинке жертвы заранее знали, что их ведут убивать.

В письменных показаниях Гёсс деловито сообщал, что по прибытии новых заключенных в Освенцим, тех, кто мог трудиться, направляли на работу, а тех, кто был негоден к работе, посылали на фабрику истребления. Детей, разумеется, истребляли всех и сразу, поскольку работать они не могли.

Клянусь, что всё это Гёсс написал в своих письменных показаниях и подтвердил правильность написанного в суде.

В газовой камере люди умирали в течение 3-15 минут. О наступившей смерти узнавали по тому, что жертвы переставали кричать. После того как трупы были вынесены из камеры, особые команды заключенных снимали с жертв кольца и извлекали золотые зубы.

Комендант Освенцима неоднократно подчеркивал, что всю эту акцию по массовому истреблению людей, начатую летом 1941 года и продолжавшуюся до осени 1944 года, надлежало проводить тайно. Однако, при всём желании полной секретности сохранить не удавалось. Смрад от постоянного сожжения трупов заполнял всю прилегающую к лагерю территорию, и все местное население знало, что здесь проводится истребление заключенных.

Свидетель защиты не только не оправдал надежд, возлагавшихся на него адвокатом Кальтенбруннера, но и во всех подробностях рассказал, как на практике с ведома и не без участия нюрнбергских подсудимых осуществлялась «расовая теория». Размах бесчеловечных мероприятий был таков, что держать их в секрете было невозможно. Такие теоретики и практики расизма, как Розенберг, Кальтенбруннер, Франк и Штрейхер, принимали в этих меро-

приятиях активное участие, каждый на своем посту и по мере возможностей.

Да и другие подсудимые, несомненно, знали о существовании концентрационных лагерей, посещали их, использовали рабский труд заключенных и тем или иным способом «содействовали решению расовой проблемы».

А тот, кто был на этом процессе всего лишь свидетелем защиты, Рудольф Франц Фердинанд Гёсс был впоследствии приговорен уже другим, польским, судом к смертной казни через повешение. Приговор был приведен в исполнение в концентрационном лагере Освенцим. Правда, перед тем как привести приговор в исполнение, бывшему коменданту приказали (или предоставили возможность?) написать подробные воспоминания — своеобразную исповедь палача.

И таких преступников было великое множество — и в Германии, и на Руси тоже. И все они были на боевых постах: подчиненные и начальники, рядовые и генералы, представители СС и гестапо, ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, ГУЛАГа и других главных, особых, тайных, чрезвычайных и тому подобных управлений, подразделений и учреждений. Названия и начальники были разными, а суть оставалась одна: обеспечить существование и функционирование аморальных и жестоких тоталитарных систем. Для этого и был нужен огромный аппарат насилия и принуждения, способный подавить любое инакомыслие, не говоря уже о действенном противостоянии режиму. Запуганных граждан необходимо было распихать по загонам и превратить в безгласных и послушных рабов.

Число палачей и их подручных в этих «сетях» и «органах» не уточнялось. Чем больше их было, тем лучше, тем надежнее была защищена система от внутренних и внешних врагов. Как писал Твардовский:

А помимо той сети,
В целом необъятной,
Сколько в органах, — сочти... —
В органах? — Понятно!

«Верноподданные» и не сомневались, что везде и повсюду их окружают стукачи и сексоты, разнообразные представители тайной полиции. Существовало непроверенное,

но неоднократно высказывавшееся мнение, что из одних только охранников тюрем и лагерей в России можно было бы сформировать целую армию, а может быть, и небольшой фронт. Это и был своего рода фронт внутренней обороны режима от собственного народа. Такой же фронт существовал и в гитлеровской Германии.

Правда, после разгрома нацизма в Германии, а затем и распада советской тоталитарной системы в конце XX века ряды оставшихся не у дел армий стали стремительно уменьшаться. Естественным или насильственным путем уходили главари в мир иной, а кое-кто сумел и ловко приспособиться к новым условиям существования.

Но хочу подчеркнуть различие между событиями в Германии 1945—46 годов и нашей посттоталитарной историей. В послевоенной Германии, несмотря на все трудности политического и организационного характера, всё же состоялся Международный процесс над главными немецкими военными преступниками и преступными организациями и за этим главным судом последовал еще целый ряд процессов над палачами различных рангов. А у нас судебного разбирательства дел главных советских преступников и преступных организаций не состоялось. МВД—КГБ были успешно (или не очень успешно) реорганизованы, все руководители ведомств, после расстрела втихую, практически без следствия Берии с Серовым и Абакумовым и «авантюристов типа Рюмина» благополучно кончают свой жизненный путь на пенсии. Запретить деятельность коммунистической партии ленинско-сталинского образца новые правители не смогли, попытка осудить КПСС потерпела крах. Поэтому гражданам бывшего СССР остается только уповать на Божий Суд, который неверующие называют судьбой.

НО ЕСТЬ, ЕСТЬ БОЖИЙ СУД!

Примером такого высшего Суда может служить кончина бесчеловечного хозяина Колымы генерала Никишова, которого недобрым словом поминают в мемуарах и рассказах его бывшие рабы — заключенные колымских лагерей. Об этом

жестоком властолюбце не скажешь лучше, чем это сделал Варлам Шаламов в рассказе «Иван Федорович». Я отважусь лишь дополнить написанный мастером живой портрет изверга некоторыми подробностями кончины генерала. Рассказали мне об этом мои знакомые, бывшие колымские узницы, ныне реабилитированные жены «врагов народа». Пусть знают жертвы, а скорее всего их потомки, как судьба отомстила хотя бы одному палачу.

Случилось это в столице нашей Родины в конце 60-х годов. Три колымские «зечки»: балерина, пианистка и врач, возвратившиеся в Москву после реабилитации, однажды жарким летним днем встретились на старом Арбате и зашли в большой угловой гастроном на Смоленской, тот самый, что когда-то был торгсином, увековеченным Михаилом Булгаковым в «Мастере и Маргарите». Здесь завершали свои последние московские похождения Коровьев и Бегемот. Здесь, на стыке гастрономического и кондитерского отделов, где было очень просторно и гражданки в платочках и беретиках не напирали на прилавки. Бегемот с примусом под мышкой жрал мандарины со шкуркой на глазах у обалдевшей продавщицы, а Коровьев с жаром комментировал его действия, призывая публику пожалеть истомленного голодом и жаждой горемыку, которому неоткуда взять валюту.

В 60-х годах всё это ушло в прошлое. Подруги по лагерю покупали съестное за рубли и, покончив с покупками, уже направлялись к выходу, как вдруг навстречу им бросилась женщина в белой майке и тапочках на босу ногу.

«Мои дорогие, как я вас сохранила!» — в искреннем порыве воскликнула она, поравнявшись со своими бывшими рабынями. Ее простроченное морщинами испитое лицо расплылось в доброжелательной улыбке. Только глаза свидетельствовали о ее былой привлекательности. Они всё еще вспыхивали порой озорными огоньками.

Это была Александра Романовна Гридасова, бывшая начальница магаданского женского лагеря, депутат магаданского горсовета, некоронованная королева Колымы, приехавшая в этот холодный край по комсомольской путевке то ли подавальщицей, то ли канцеляристкой. Здесь ее и приметил пожилой генерал Никишов.

Увлеченный до умопомрачения бойкой девицей, Никишов, не долго думая, отправил жену и сына «на материк», женился на Шурочке Гридасовой, и она в одночасье стала единодержавной правительницей колымского края, вершительницей судеб заключенных, хозяйкой жизни и смерти многих тысяч людей.

Неожиданная встреча в булгаковском гастрономе завершилась через несколько дней обильным застольем на квартире у одной из подруг. Гвоздем хорошо продуманной программы вечеринки была Гридасова. Осушив несколько шкаликов водки с шампанским, бывшая комендантша «раскололась» и поведала собравшимся историю своего расставания с мужем.

После разжалования генерала Никишова приехала Александра Романовна с детьми и пьяницей мужем в Москву. Все шубы, драгоценности, сделанные руками заключенных ларцы, вышивки и кружева были проданы, а деньги дружно пропиты бывшим генералом, его избранницей и ее очередным любовником.

Тогда-то беспощадная супруга выставила покрытую грязным тряпьем кушетку с уже недвижимым, но всё еще живым генералом на лестничную площадку, где умирающий пребывал до тех пор, пока задыхавшиеся от зловония соседи не разыскали когда-то изгнанного генералом старшего сына. Тот и забрал отца вместе с его насквозь провонявшим лежаком.

Таков был конец одного из многих советских палачей. Его не судили, как коменданта Освенцима Рудольфа Гёсса, его не повесили на месте преступления, как освенцимского палача. Но судьба сама уготовила ему заслуженное возмездие.

А Шурочка? Что она? Она продолжала жить, выпивать и изредка выпрашивала деньги у бывших колымских «зечек». И те, которых она не уничтожила, не стерла в порошок, не сломала в своем колымском царстве, а даже помогла выжить (такое тоже редко, но бывало!), давали ей деньги. Ведь жена Никишова была человеком настроения. Кого казнила, а кого и миловала!

МЫ И ОНИ

Ближе к концу процесса для нас, «синхронистов», всё меньше и меньше оставалось в нашей работе непреодолимых профессиональных, технических и даже психологических трудностей. Но одна непреходящая трудность каждый раз требовала от меня напряжения всех моих духовных и физических сил. Она была тесно связана с событиями и переживаниями моей жизни. Это живая рана внутри меня. Стоит ее коснуться неосторожным словом, и она начинает кровоточить, а я чувствую острую душевную боль. В Нюрнберге эта боль почти никогда не утихала.

Большинство моих соотечественников, переживших эпоху сталинской диктатуры, не усомнятся в искренности и правдивости этих строк моего грустного повествования. Но я вынуждена иногда делать над собою усилие, чтобы не нарушить моего обещания писать «правду и только правду». А в этом случае правда заключается в том, что я не могла не проводить бесконечные параллели и сравнения между показаниями подсудимых и фактами нашей советской действительности.

Для некоторых читателей такие сравнения могут показаться чересчур назойливыми и даже нарочитыми. Но недаром взяла я в качестве девиза слова из судебной клятвы «ничего кроме правды!». Не только сейчас, в тот момент, когда я пишу эти строки, моя старая память вплетает этот лейтмотив в симфонию, а может быть, в какофонию моих воспоминаний, — нет, и тогда он громче всего звучал в моей душе. Мне казалось иногда, что я разом присутствую не только на том историческом Нюрнбергском процессе, но и на другом, незримом, немыслимом тогда и, к сожалению, так и не состоявшимся в наши дни. Это процесс над нашими собственными, «родными», отечественными палачами, которые в силу принадлежности к одной с нами стране и народу кажутся мне еще более страшными и омерзительными, чем нюрнбергские.

Лагеря, колючая проволока, бессмысленность и жестокость карательных кампаний — всё было так похоже и так

узнаваемо, что, казалось: заплечных дел мастера СССР и Германии где-то регулярно обменивались опытом и секретами мастерства друг с другом так же, как комендант Освенцима с комендантом Треблинки.

Неизбежные различия в организации массовых репрессий и истребления людей только подчеркивали общую направленность режимов на самосохранение путем уничтожения любого потенциально непокорного и в то же время всякого просто подвернувшегося под руку и неспособного оказать сопротивление гражданина родной страны или иностранца.

Кое-какие различия, спору нет, существовали, например, в выборе жертв. Большевики специализировались главным образом на своих верных соратниках и единомышленниках, нацисты отдавали предпочтение идейным противникам и «неарийцам», прежде всего семитам. Но время от времени эти различия стирались перед лицом «революционной» ли, «государственной» ли необходимости, как ее понимали диктаторы. Разве не резали нацисты своих штурмовиков и разве не дошел сталинский режим в конце концов до подготовки и осуществления массовых репрессий против десятка национальностей, включая и евреев? Кроме того, постоянная готовность огромной машины репрессий и там и тут приводила иногда к тому, что маховик шел вразнос и брали всех подряд, включая ни в чем не повинных детей, женщин и стариков.

Люди последующих поколений не могут представить себе, сколько детей сидело в лагерях и в нацистских, и в советских. Здесь, к счастью, не было полного совпадения. Советских детей сначала с возраста 12, а потом с 14 лет, хотя и сажали в лагеря за подобранные после жатвы колоски, за конфеты, полученные от оккупантов, и т. п., но все же не бросали живыми в газовые камеры и в печи крематориев.

Хочу вспомнить девочку, оказавшуюся в одной камере с моей знакомой Бертой Джафаровой, женщиной, прошедшей многие тюрьмы Страны Советов и колымские лагеря. Берта плакала, когда рассказывала эту историю. Маленькая «дочь кулака» (с виду ей было трудно дать и 12 лет) попала в тюрьму за то, что «нелегально» приехала из сибирской

ссылки навестить свою городскую родственницу, которая жила где-то на Украине. С горьким плачем девочка говорила своей сокамернице: «Как только приеду домой, выпущу мою канарейку...».

Сейчас в Германии и США изданы стенограммы Нюрнбергского процесса, в России вышел сборник материалов Нюрнбергского процесса в семи томах, «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, «Справочник по ГУЛАГу» Жака Росси, не говоря уже об огромном массиве опубликованных и неопубликованных, но ныне доступных немецких и советских архивных документов, научных исследований и монографий, воспоминаний заключенных Советского Союза и нацистской Германии. Сравнительное исследование двух тоталитарных систем впереди, и теперь оно возможно. Но, невзирая на все различия, я не сомневаюсь, что одним из главных общих признаков этих систем будет признано массовое преследование и уничтожение людей.

Однако такое исследование могут провести только специалисты. А я простой советский переводчик, не член КПСС или НСДАП. Нежданно-негаданно почти прямо с фронта судьба забросила меня в баварский город Нюрнберг. Здесь мне суждено было стать участником и живым свидетелем судебного процесса, который современники назовут «процессом века».

И как свидетель клянусь Богом, всемогущим и всеведущим, я ежедневно и ежечасно убеждалась в том, что значение этого процесса для научного анализа и осмысления не только нацистской, но и большевистской диктатуры трудно переоценить.

Всё, что мне довелось услышать и увидеть в зале суда, к сожалению, подтверждает правильность моего утверждения. Вывод о близком родстве тоталитарных систем был тяжким, но неизбежным. Особенно тяжким этот вывод был еще и потому, что шел 1946 год и после того, как послевоенные надежды оптимистов на перемены к лучшему в нашей стране рухнули, у меня и моих соотечественников впереди были еще долгие годы страха и рабства.

ВОПЛОЩЕНИЕ ЗЕМНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Тем временем, несмотря на наметившиеся уже тогда серьезные разногласия между союзниками, Трибунал продолжал свою работу. Огромное впечатление производило на меня само скрупулезное, с полнейшим соблюдением всех правовых и процессуальных норм рассмотрение преступлений нацизма. Казалось, это была предельно возможная в земных условиях справедливость.

Такой подход к решению судьбы подсудимых даже тогда, когда их вина ни у кого не вызывает сомнений, нам, рожденным и выросшим в Советском Союзе, был незнаком.

Подумать только: таким преступникам было предоставлено полное право на защиту! Каждый из них сам себе выбрал адвоката, которому Трибунал разрешил пригласить еще и помощников. Некоторые из них в прошлом были членами нацистской партии, судьями и прокурорами в судах «третьего рейха» и, наконец, иногда даже и родственниками подсудимых.

Подсудимым была дана возможность выступать свидетелями по своим собственным делам и, отвечая на вопросы обвинителей и защитников, приводить любые доводы и документы в свою защиту, более того — вызывать свидетелей, которые могли дать показания, оправдывающие их действия или смягчающие их вину.

Председатель суда лорд Лоренс строго следил за тем, чтобы законные права подсудимых неукоснительно соблюдались. Всех поражали его терпение, тактичность по отношению как к обвинителям, так и к адвокатам и подсудимым. Он решительно пресекал попытки защиты затянуть процесс, вежливо напоминая о том, что суд должен быть скорым и справедливым. В тех же случаях, когда доводы защитников были убедительными, председатель признавал это и не допускал нарушения процессуальных норм. Равенство сторон, так кажется говорят юристы, было обеспечено.

Что греха таить, всё это было для советских граждан, непривычно и удивительно. Ведь в эпоху сталинизма в СССР праведных судов не было. Судьба обвиняемых решалась еще до начала суда или вообще без суда так называемыми «трой-

ками», особыми совещаниями или карандашной визой Великого Вождя. Какие уж там прокуроры, какие там адвокаты, какие свидетели! Да еще не забудьте об оказании на обвиняемых мер морального и физического воздействия.

В условиях произвола и полного бесправия в советском суде обвиняемые безропотно признавали себя виновными не только на следствии, но и на судебном заседании. И дело заканчивалось расстрельными приговорами.

Кто может это оспорить? Такого человека нет, потому что так это было на нашей многострадальной земле.

Что думали и чувствовали на заседаниях Нюрнбергского трибунала наши советские судьи и обвинители, их помощники и консультанты, — представители элиты служителей советской Фемиды? Им-то теория и практика советского правосудия были известны хорошо! А то, что происходило в Нюрнберге, совсем не походило на формальное судилище и беспардонную расправу.

Ясно, что в условиях, созданных в Трибунале, нашим юристам пришлось туго, и они не сумели в полной мере выполнить задачу, поставленную перед ними Кремлем или точнее самим диктатором: вынести всем подсудимым быстрый и самый суровый приговор.

Даже среди представших перед Трибуналом отборнейших мерзавцев судьи провели в соответствии с результатами процесса различия в оценке их преступлений и в мере возмездия.

Двенадцать подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение (Геринг, Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхер, Заукель, Йодль, Зейсс-Инкварт, Кальтенбруннер и Борман), трое подсудимых — к пожизненному тюремному заключению (Гесс, Редер, Функ), двое — к двадцати годам заключения (Ширах, Шпеер), Нейрат был приговорен к 15, а Дениц — к 10 годам тюрьмы.

Подсудимые Шахт, Папен и Фриче были оправданы.

Трибунал объявил преступными организациями руководящий состав нацистской партии, гестапо, СД и СС, но не признал преступными СА, гитлеровское правительство, верховное командование и генеральный штаб.

Такой финал был неприемлем для советских судей и обвинителей, и после оглашения приговора Лоренс сообщил

о занесении в протокол судебного заседания Особого мнения члена Трибунала от СССР генерал-майора И. Т. Никитченко в связи с оправданием Шахта, Папена и Фриче, неприменением смертной казни к Гессу и непризнанием преступными организациями имперского правительства, генерального штаба и верховного военного командования германских вооруженных сил. Никакого другого выхода из создавшегося положения у члена Трибунала от СССР не было.

Москва, точнее Правительственная комиссия по Нюрнбергскому процессу, возглавляемая Андреем Януарьевичем Вышинским и незримо руководимая самим Иосифом Виссарионовичем, негодовала по поводу приговора. А между тем оправдательные приговоры со всей очевидностью были связаны с тем, что Шахт, Папен и Фриче не могли быть поставлены в один ряд с теми преступниками, которые сидели рядом с ними на скамье подсудимых. Кроме того, в какой-то мере оправдание одних и смягчение участи других подсудимых делали психологически еще более вескими смертные приговоры ведущим нацистским преступникам.

И мне Нюрнбергский приговор показался примером земной справедливости. Тем более, что было с чем сравнить. Я имею в виду, например, приговор по делу «антисоветского право-троцкистского блока». Советским гражданам эта возможность была предоставлена не каким-нибудь «самиздатом», а народным комиссариатом юстиции СССР, публиковавшим в марте 1938 года в «Правде» и «Известиях» подробные сообщения о заседаниях Военной коллегии Верховного суда Союза ССР. В том же году полный судебный отчет вышел отдельным изданием.

Читая этот 700-страничный документ через 60 лет после его опубликования, приходишь к выводу, что он представляет собой ценнейший материал для будущего сравнения с приговором Международного Трибунала. И тогда, в 1946 году, слушая приговор в Нюрнберге, я невольно вспоминала Московский процесс 1938 года под председательством В. В. Ульриха. Государственным обвинителем на том процессе выступал прокурор Союза ССР А. Я. Вышинский.

Эти два палача за *7 дней* Московского процесса сумели приговорить к высшей мере наказания — расстрелу — 18 под-

судимых. Лишь трое были приговорены к разным срокам тюремного заключения от 15 до 25 лет.

Вот это был ударный коммунистический труд! Вот так коммунисты судили коммунистов, в прошлом своих верных соратников и единомышленников. Ни о каком реальном соблюдении процессуальных норм не могло быть и речи. Благо жертвы не сопротивлялись, будучи уверенными, что всякое сопротивление Великому Вождю бесполезно, и поэтому предпочли признать себя изменниками социалистической родины.

Таким признанием они, может быть, надеялись спасти от беспощадных преследований своих близких. Но эти надежды не сбылись. Родственники «врагов народа» подлежали в стране социализма уничтожению или пребыванию в лагерях как «члены семей изменников родины» (ЧСИР или просто ЧС).

Другое дело в Нюрнберге, где суд длился *250 дней*, Международный Трибунал прилагал все усилия, чтобы не отступать от процессуальных норм, принятых и зафиксированных в документах, подписанных членами Трибунала. И насколько же весомы и справедливы те 12 смертных приговоров, которые вынес Трибунал. И в этом тоже заключается значение Нюрнбергского процесса для будущих поколений.

Пора бы мне кончать. Но поставить точку, оказывается, так же трудно, как и написать первую страницу автобиографического повествования. На память приходят всё новые и новые эпизоды, которыми была заполнена наша необычная нюрнбергская жизнь.

КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ИСТОРИИ ДИКТАТУРЫ

Участники Процесса день за днем, месяц за месяцем слушали дело главных немецких военных преступников. Иногда это походило на курс лекций по истории диктатуры в одной отдельно взятой стране, именовавшей себя то национал-социалистическим государством, то просто «империей», то «третьей империей», то «Великой Германией».

Приводить примеры из истории других стран, даже таких, в которых, как и в нацистской Германии, диктатура яв-

лялась основой государственного устройства, на процессе не полагалось. И это ограничение представляется весьма необходимым. Не будь его, суд, которого после войны хотели и ждали все народы мира, мог бы не состояться.

Но всё же изредка кто-то из знатоков — а лекции читали только знатоки — забывал это железное правило и оглашал сравнительные данные о числе жертв бомбардировок не только английских, но и немецких городов. Или же кое-кто себе во вред заводил речь о массовом расстреле неизвестно кем пленных польских офицеров не в Германии, а на территории другой страны. Или кто-то упоминал о том, что вместе с нацистской Германией одна из стран росчерком пера объявляла о прекращении существования третьей страны.

Кто-то приводил неопровержимые доказательства того, что жестокие методы ведения войны на море успешно применялись не только военно-морским флотом Германии, но и ВМФ страны-победительницы. Письменное подтверждение этого факта защитник Рёдера сумел получить не у кого-нибудь, а у самого американского адмирала Нимица, который с военно-морской прямотой признал, что, потопив корабль противника, подводная лодка не только не имела возможности, но и просто ни в коем случае не должна была брать на борт членов его экипажа.

Не один раз в кулуарах выражалось пожелание, чтобы Трибунал вызвал во Дворец юстиции Сталина и Черчилля, чтобы посадить их на скамью подсудимых или по крайней мере допросить как свидетелей.

Но всё это не помешало довести до конца именно то и только то дело, которое рассматривал Трибунал.

ЭТО ТОЛЬКО КОНЕЦ НАЧАЛА...

31августа 1946 года суд заслушал последние слова подсудимых и председательствующий Джеффри Лоренс закрыл очередное заседание Международного военного трибунала. Высокий суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Объявленный по этому поводу перерыв длился до 30 сентября, но не был предназначен для отдыха

переводчиков и других работников Международного суда. Напротив, работа закипела с новой силой. Синхронисты переключились на письменные переводы, теперь уже не только на родной язык. Как мне помнится, именно нам пришлось потрудиться над переводом Особого мнения советского члена Трибунала И. Т. Никитченко и над переводом многих других документов как с русского на немецкий, так и с немецкого на русский язык.

Начало осени в Нюрнберге запомнилось мне гнетущей тоской по родному дому. Привычный ритм работы, в который мы все как-то втянулись, был прерван, но не желанным возвращением домой, а новым этапом напряженной деятельности, что породило у меня чувство обреченности.

Подумать только, последним кровавым боем с войсками фельдмаршала Шёрнера уже после подписания Акта о безоговорочной капитуляции кончилась на моем участке фронта вторая мировая война. Тогда меня не покидала наивная уверенность, что все оставшиеся в живых офицеры и солдаты, по крайней мере такие, как я, совершенно не нужные армии в мирное время, сразу будут отправлены восвояси. Но судьбе было угодно распорядиться иначе. Я получила приказ срочно отправиться в Берлин в штаб Советской Военной Администрации в Германии, и не через Москву, а через Варшаву.

Путь домой мне всегда преграждали приказы, и поэтому моим родителям, пока я была в Нюрнберге, приходилось довольствоваться кинохроникой и фильмом Романа Кармена «Суд народов».

Мама смотрела по несколько сеансов в день в маленьком душном зале кинотеатра «Аврора», что был у Покровских ворот рядом с нашим домом. Каждый раз я появлялась на экране на одну секунду. Когда мама увидела меня в первый раз, она невольно громко произнесла мое имя и зрители, сидевшие рядом, зашикали. На всех последующих сеансах мама молча смотрела на меня.

Здесь я должна вам кое в чем признаться. Прошу вас, не судите меня слишком строго. Когда мое ожидание встречи с близкими достигло наивысшего накала, я купила Биньхен — щенка жесткошерстного фокстерьера. Этот маленький шерстяной комочек ничего не знал и не ведал о совершённых и

совершаемых человечеством преступлениях, не знал и не ведал, что и его хозяйка была тем самым «человеком с ружьем», которого, как нам почему-то внушали, не надо бояться. Собачонка смотрела на меня ласково и доверчиво, и никто на свете не мог разубедить ее в том, что я самое доброе существо на земле.

30 сентября все члены Трибунала подписали приговор и, сменяя один другого, начали читать этот исторический документ в зале суда.

1 октября 1946 года на своем последнем, 407-м заседании Трибунал объявлял приговор каждому приговоренному в отдельности. Этот раздел приговора огласил сам председательствующий. В 15 часов 40 минут этого же дня закончился Нюрнбергский процесс, закончилась и наша работа, работа синхронистов. Мы навсегда покидали арену последнего сражения второй мировой войны, волею судеб став участниками беспрецедентной битвы фактов, доказательств и умов, свидетелями человеческих страданий и безграничной человеческой жестокости и подлости.

Захожу в комнату переводчиков рядом с залом суда, чтобы попрощаться с нашими зарубежными коллегами. И здесь они мне неожиданно объявляют, что я должна тянуть жребий, а жребий решит: кто из переводчиков будет работать во время казни. Я всячески сопротивляюсь, но меня заставляют тянуть из ящика аккуратно свернутую бумажку с роковым решением. Мое «счастье» мне не изменило: идти на казнь выпадает именно мне. Мои решительные протесты не имеют успеха... до тех пор, пока в дверях не появляется очередная жертва и весь розыгрыш не повторяется сначала. Так шутили в Нюрнберге переводчики-синхронисты.

НАД СТЕНОГРАММАМИ

Я не хочу, да и не могу описывать дальнейшее, прежде всего казнь преступников, которая состоялась 16 октября 1946 года. Мы, советские переводчики, 6 октября покинули Нюрнберг и отправились в советскую зону оккупации в Лейпциг. Нам предстояло в течение трех месяцев (представляете масштабы

нашей работы!) править стенограммы, сличая текст перевода с подлинником и мысленно вновь возвращаясь в зал суда.

Зато чрезмерная рабочая нагрузка, вернее перегрузка, помогала нам переносить тоску по дому.

А у меня (вы не забыли?) была еще и собака. Молодость тоже брала свое. И песни мы опять сочиняли. Одну, на мотив известного фронтового вальса, я записала. Вот ее текст:

ПЕСНЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ

Я помню, как осенним днем
Мы приземлились тут,
Я помню, как в краю чужом
Мы начали свой труд.
Я помню день, как страшный сон,
Когда зажглись огни
И крепко сжали микрофон
Товарищи мои.

Припев:

Так вот, друзья, пришла пора,
Настал расплаты час,
И то, что врали мы вчера,
Мы выправим сейчас.
Мы знаем: путь лежит в Москву
Сквозь груды стенограмм,
И что положено кому,
Пусть выправит он сам.

Опять неслышен, невесом
С берез слетает лист,
И вот Москву, как светлый сон,
Дает телефонист.
Я слышу голос: «Это ты?»,
А рядом в забытьи
Сидят и черкают листы
Товарищи мои.

(*Припев*)

Тепло и свет московских встреч
Нас греют, как и встарь,
Друзья, чтоб здесь костьми не лечь
За ручку и словарь.
Коль стенограммы победим,
Осилив сотни тонн,
Закажем правнукам своим:
Не врите в микрофон.

(*Припев*)

OMNIA MEA MECUM PORTO!..

В начале января, когда работа была закончена, мы выехали в Берлин, а оттуда на поезде — в Москву. На советской границе таможенники неоднократно и настойчиво спрашивали меня, где же мои вещи. Я раз за разом указывала им на два чемодана, коробку с книгами и собаку. Наконец я услышала короткий и сердитый выговор: «У нас нет времени шутить. Мы работаем, а не развлекаемся».

Дело в том, что еще в Лейпциге я опять переоделась в военную форму, а после войны был издан приказ, согласно которому фронтовикам, отправляющимся в свой первый послевоенный отпуск, разрешалось везти на Родину практически любое количество багажа без таможенного досмотра. И наши таможенники, привыкшие к огромным вещевым грузам в контейнерах и даже просто в вагонах, не могли поверить, что всю дорожную кладь возвращающегося на Родину советского офицера составляют пара чемоданов да картонная коробка, не считая собаки. Я, разумеется, не шутила, про себя я вполне могла сказать: Omnia mea mecum porto! (Всё мое ношу с собой.)

И вот, прижимая собаку к потрепанной, еще фронтовой шинели (сшить новую в Берлине в 1945 году не успела), я пересекаю границу Союза Советских Социалистических Республик, думая о том, что скоро буду в Москве и наконец встречусь с дорогими моему сердцу людьми.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Тут бы мне и закончить свое повествование, но пока поезд еще только приближается к Москве, я хочу в последний раз обратиться к читателю.

Итак, с Нюрнбергским процессом покончено, и мы, статисты, должны без промедления покинуть зал. Когда занавес опущен, право выйти на авансцену и раскланиваться имеют только главные действующие лица.

Что касается меня, я бы никогда не решилась высказать мои дилетантские суждения. Но... Простите мне великодушно продолжение затянувшейся истории и невольные повторения. Пишу только потому, что не могу молчать перед лицом надвигающейся опасности возврата большевизма и национал-социализма.

Как меня встретит Родина? Этого я не знала, как не знали этого и мои попутчики от генералов до штатских сотрудников советской делегации в Международном военном трибунале. Каждый из нас выполнил свой долг, как он его понимал или как умел, и теперь все мы были равны перед неписаными, но неумолимыми законами нашего реального социализма.

Хотя ехали мы не в телячьих вагонах, как советские военнопленные, которые возвращались на Родину из нацистских концентрационных лагерей прямиком в советские исправительно-трудовые лагеря, а следовали по маршруту Берлин — Москва в мягких спальных вагонах курьерского поезда, но каждому из нас было неведомо, какую участь уготовила ему наша непредсказуемая родная советская власть.

Мы не знали, кого из нас она лишит жизни, превратит в лагерную пыль, а кого одарит барской милостью, наградит орденами и, того глядишь, возведет в руководящую должность с предоставлением особых привилегий. Статистам такие почести, конечно, были не положены. Это касалось только судейской элиты.

А за все милости при нашем социалистическом режиме, разумеется, приходилось расплачиваться рабским повиновением, доносами, лжесвидетельствами, подлостью и предательством, как правило, в строгом соответствии с полученными поощрениями и наградами. И следовало встречать каждое слово «любимого» Вождя достаточно бурными и продолжительными аплодисментами, вставать и кричать «Ура!» и прочее, и прочее.

Как не вспомнить в этой связи один из характерных эпизодов моей не слишком удавшейся научной карьеры. За год-два до смерти Вождя, когда обычаи, связанные с поклонением ему, достигли в своем развитии апогея, сам ректор Московского государственного университета доктор исторических наук, профессор Илья Саввич Галкин, мой

официальный научный руководитель, прочитав первую главу моей кандидатской диссертации по историографии Германии, указал мне на настоятельную необходимость воздать в моем опусе пусть примитивную, но безграничную хвалу корифею всех наук и кроме того включить во введение тезисы о борьбе против мирового империализма, буржуазного идеализма и космополитизма. Такое вот простое замечание научного руководителя. Я робко ответила ему, что сделать этого не могу. Профессор даже изменился в лице. Он вскочил со своего места за письменным столом и на цыпочках направился к чуть приоткрытой двери своего кабинета. Выглянув в переднюю и убедившись, что там, кроме собаки, никого нет, он вернулся на свое место и шепотом произнес: «Тише, тише! Вы не можете, я сам сделаю, иначе в ВАКе не пройдет».

За годы ленинско-сталинской диктатуры мы слишком хорошо усвоили правила игры в социализм, но я была плохой ученицей.

Уроки Нюрнбергского процесса я усвоила лучше. Усвоили их, я думаю, и все участники процесса. Каждый из нас, наверное, выделяет для себя нечто самое главное из этих уроков. А для меня, как я не устаю повторять, главным было выявление родства двух тоталитарных систем XX века. Сознавать это сходство было для меня, советского человека — еще и еще раз скажу — вовсе не легко. Но совсем уж трудно было понять: почему так должно было случиться?

Я думала об этом, но в душе моей уже стихло то чувство неукротимого гнева, которое охватило меня в детстве, когда после ареста родителей я шла, дрожа от холода и страха, по Красной площади, и посылала мысленные проклятия великому учителю и любимому отцу народов. Я думала ни много, ни мало о том, как его убить, задушить, разорвать на куски, превратить в пепел. Но как же это сделать? Древняя кремлевская стена не давала ответа. И я, придя домой, садилась писать очередное прошение о пересмотре дела моих родителей всесоюзному старосте Калинину. По ночам я писала стихи. Жаль, но я уничтожила их перед отъездом на фронт. В памяти случайно сохранилась строчка: «Когда ты издохнешь, кремлевский пес?» Сохранять такое было очень опасно.

Я уже писала, что моя душа после ареста родителей в какой-то мере успокоилась, когда я начала помогать не только своим, но и незнакомым лагерникам. Но что это была за помощь! Капля влаги в горячем песке! И все же мне становилось легче, потому что вокруг меня были люди, которые поддерживали меня всем, чем могли. Это были не только товарищи по несчастью, но и рядовые коммунисты, которых еще не успели арестовать и которые, сохраняя верность идеям марксизма-ленинизма, в полной мере осознавали порочность пути, избранного Сталиным и его послушными прихвостнями.

Другой моей помощницей была Великая Отечественная война. Как и всем моим соотечественникам, она принесла мне много тяжелых потерь, духовные и физические страдания. Но в то же время, как я уже признавалась, она явилась огромным облегчением. И хотя наш коварный вождь был мне ненавистен по-прежнему, на сей раз я в полном согласии с ним повторяла слова: «Враг будет разбит. Победа будет за нами».

Не скрою: в душе моей теплилась надежда, что после Победы наступит час гибели кремлевского дракона. И этот час наступил, но только ждать его пришлось еще долгие годы, в которые наш народ был безмолвным свидетелем неправедных судов и тайных расправ, преследований и беззаконий.

Казалось, что Иосиф, предчувствуя свою смерть, во что бы то ни стало стремился догнать и перегнать любимого и потому уничтоженного им Адольфа. Об этом свидетельствует последний неправедный суд эпохи сталинизма — суд над членами еврейского антифашистского комитета летом 1952 года и так называемое «дело врачей», не получившее запланированного продолжения лишь из-за смерти его вдохновителя.

Так Сталину удалось в какой-то мере, если не перегнать, то в последний момент догнать фюрера на поприще антисемитизма. Этого, пожалуй, не смогут отрицать даже самые ярые почитатели Иосифа Виссарионовича, все силы которого были, как и всегда, направлены на достижение поставленной цели. Не его вина, что он не успел осуществить переселение евреев в лагерные бараки и принять решение об их окончательной ликвидации. Собственная смерть никак не входила в грандиозные планы тирана.

...16 августа 1997 года сосед по дому показал мне «издание Русского национального союза» — увенчанную свастикой газету «Штурмовик» — выпущенное на русском языке в Москве российское продолжение грязной газетенки Юлиуса Штрейхера. Нацистского антисемита № 1 давно уже нет, его повесили в Нюрнберге, а дело его, оказывается, живет в наши дни на московской земле.

Неровен час, сбудутся предсказания Германа Геринга, утешавшего своих сообщников на скамье подсудимых словами: «Останки наши еще поместят в мраморные гробы!». Не знаю, как насчет гробов, но опасность появления на свет этих зловещих близнецов — большевизма и нацизма — слишком велика.

Мне уже слышен стук сапог по брусчатке площадей и бетону стадионов. Я вижу, как выстроились в шеренги юнцы, выбросив вперед руки в традиционном приветствии. Фотография этих юнцов уже помещена в московском «Штурмовике». Не успеем оглянуться, как на трибуне мавзолея появится фюрер-вождь и поведет народ от победы к победе. И никто не спросит, какой ценой придется заплатить народу за очередную авантюру диктатора.

Опасность тоталитаризма реальна. И всё тот же вопрос задаю я себе: почему в России не было Нюрнбергского процесса, почему Коммунистическая партия Советского Союза как организация не была запрещена?

Тогда, в Нюрнберге, Трибунал помимо своей воли, не желая того, не ставя перед собою такой задачи, вскрыл родство двух партий: НСДАП и ВКП(б)—КПСС, действовавших как единственные правящие партии в условиях диктатуры. Именно последний фактор оказался несовместимым с осуществлением миролюбивых и человечных идей, которыми была до отказа насыщена программа Коммунистической партии Советского Союза и о которых нет и помину в программе НСДАП.

Но если нацисты выполняли свою античеловеческую программу, то большевики использовали свою для пропагандистских целей и беспардонного обмана своего народа. В этом состоит различие двух политических организаций. Однако это различие не влияло на результаты деятельности

диктаторов и рабски преданных им партийных заправил всех рангов от имперского партруководителя до блоклейтера и от члена политбюро до секретаря партбюро.

Международный трибунал в Нюрнберге впервые в истории осудил систему, созданную тоталитарным государством для достижения преступных целей. Он осудил ее главное звено — нацистскую партию и руководителей системы за совершенные ими конкретные, доказанные судом преступления, которые человечество не может и не должно прощать никому, если не хочет утратить подобие Божье.

И еще раз подчеркиваю, что Трибунал исключил своим приговором возможность осуждения людей без суда и следствия, в частности осуждения рядовых членов нацистской партии, не совершивших преступлений.

Таково мое восприятие одного из главных событий уходящего века. И тогда, когда я возвращалась домой в Москву, и теперь, через пятьдесят лет после завершения процесса, я не испытываю чувства стыда за то, что была скромным участником этого события. Меня не мучает совесть. Но она упрекает меня за другое — за то, чему я была свидетелем на моей Родине.

У меня не было тогда и нет теперь ответа на вопрос: как мы могли допустить существование диктатуры в нашей стране и почему миллионы граждан нашей страны безропотно, а многие даже охотно покорились ей и стали ее рабами.

Чувствуя бессилие свое, я обращаюсь к Господу и повторяю слова Иоанна Златоуста: «Господи, аз яко человек, согреших. Ты же, яко Бог щедр, помилуй мя, видя немощь души моея. Господи, в покаянии прими мя».

...И последние часы и километры пути пролетают передо мной. Скоро-скоро, мои дорогие, любимые, я обниму вас.

СОДЕРЖАНИЕ

Ступникова Татьяна Сергеевна

НИЧЕГО КРОМЕ ПРАВДЫ

Нюрнбергский процесс

Воспоминания переводчика

ЛР № 030850 от 01.09.98 г.
Подписано в печать 11.11.02. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага ВХИ.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,5. Тираж 2000 экз. Заказ № 3922.

Московское историко-литературное общество «Возвращение».
123436, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, 34, кв. 58.
Тел./факс 196-02-26.
E-mail: vozvrashchenie@mtu-net.ru

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в издательско-полиграфическом комплексе «Звезда».
614990, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34.

